

Отворите мне темницу

Автор:

Анастасия Туманова

Отворите мне темницу

Анастасия Туманова

Полынь – сухие слёзы #4

Больше года прошло после отмены крепостного права в Российской империи, но на иркутском каторжном заводе – всё по-прежнему. Жёсткое, бесчеловечное управление нового начальства делают положение каторжан невыносимым. На заводе зреет бунт. Заводская фельдшерица Устинья днём и ночью тревожится и за мужа – вспыльчивого, несдержанного на язык Ефима, и за доктора Иверзнева – ссыльного студента-медика. Устинья знает, что Иверзнев любит её, и всеми силами старается оградить его от беды. А внимание начальника тем временем привлекает красавица-каторжанка Василиса, сосланная за убийства и разбой. Грозный хозяин завода теряет голову, не зная, что Василиса – безумна... Кто сможет избавить бесправную каторжанку от барской любви и барского гнева? Спасения ждать неоткуда, и Василиса решается на отчаянный, непоправимый шаг...

Отворите мне темницу

Анастасия Туманова

Пролог

Октябрь 1859 года выдался в Смоленской губернии ветреным и холодным. В Бельском уезде уже пали заморозки, и по оврагам, словно седые космы, лежали

полосы снега. Лесная дорога, прошитая бугристыми корнями деревьев, была подёрнута серебристым инеем. Копыта двух саврасок, влекущих за собой старые дрожки, звонко ударяли в землю, и дробный перестук эхом отзывался в пустом лесу.

В дрожках сидели три женщины. Одна из них, молодая брюнетка в капоре с полинявшими мантоньерками[1 - Мантоньерки - ленты, придерживающие шляпу или капор.], в тёплой накидке поверх шерстяного платья, смотрела, глубоко задумавшись, на пробегавшие мимо ели. Сидящая рядом девка с берестяным лукошком на коленях тоже молчала. Но нянька, державшая на руках спящего ребёнка, ворчала без умолку:

- И надо ж было ветру опять подняться, Настасья Дмитриевна! Эко ёлки-то мотает! Вот говорила я вам - незачем младенца с собой тащить! А ну как простудится у нас Маняша? Видано ли - по предзимкам дитё за пятнадцать вёрст волочить!

- Дунька, не зуди! Ничего ей не будет...

Но унять Дуньку было непросто.

- И сдались вам гладиолусы те! Своих полон сад! Куда ни глянь - торчат повсюду, как лопухи! Уж, кажись, всех цветов имеются - так нет, приспичило и «чёрный бархат» занять! А на мой взгляд - вовсе грех это, чтоб цветы - да чёрного цвета были! Не к добру, и всё! Вот как хотите - а к гробу это в доме!

- Дунька, ты просто дура. Замолчи. Дай мне Маняшу.

- А всё, Васёна, через тебя! Сама напрочь свихнулась на цветах своих и барыню с толку сбила! А мне с вами расстройство получай! Ведь в экую даль потащились! Чуть не в соседний уезд, да ещё и через лес! А на дороге, чай, разбойники! Забыли про Стрижа-то?

Василиса только пожала плечами и умолкла, ласково, как щенков, поглаживая луковицы гладиолусов в лукошке. Она была очень хороша собой. Чистое, покрытое лёгким загаром лицо было задумчивым. Каштановая коса лежала на плече тяжёлым перевяслом. Большие, синие глаза внимательно и грустно смотрели на пробегающие мимо деревья. Семнадцатилетняя садовница графов

Закатовых по праву считалась самой красивой девкой на весь Бельский уезд.

Скрипучие дрожки в последний раз сползли с холма и вкатились в сосновый бор. В нескольких аршинах от проезжего пути начинался болотистый бурелом. Кое-где по обочинам мелькала ржаво-чёрная вода, сухие палки рогоза. Бор тяжело шумел, качая над дорогой узловатыми ветвями. Дунька, перекрестившись, напустилась на кучера:

– Кузьма, ты за каким рожном лесом-то поехал? Аль последний ум пропил?! Нет бы через Требинку, как всю жизнь ездили!

– Никак невозможно, Авдотья Васильевна! – невозмутимо отвечивал Кузьма. – За Требинкой так развезло, что третьего дня лошадь с возом сена вчистую увязла! Всем селом тот воз вызволяли! Дожди ведь две недели шли, так что сама понимать изволишь... В бору-то всяко посуше: не застрянем.

– У-у, бестолочь! Нешто про лихой народец позабыл? А кто там ещё с болота ухаёт?!

– Известно кто – сова! Поди, за зайцами шныряет. Хотя навроде рано ей ещё, не смерклось даже... – Кузьма вдруг умолк на полуслове. Выругавшись, натянул вожжи. Лошади стали.

Поперёк пути лежала поваленная сосна. Кузьма, спрыгнув с дрожек, с изумлением разглядывал могучий ствол.

– Эко её угораздило – прямо на дорогу... Только вчера проезжал тут – не было её! Откуда ж это она завалилась-то?.. – кучер сошёл с дороги на обочину, туда, где торчал огромный пенёк, осмотрел его:

– Вот ведь притча... Спилена сосна-то! Это у кого ж ума хватило...

– Кузьма, воротись! Живо воротись, дурень! – вдруг не своим голосом завопила Дунька. Но было поздно: лошадей уже держали под уздцы невесть откуда возникшие взъерошенные мужики.

– Свят господи... – побелевшими губами пробормотала Дунька. – Барыня, милая, отдайте мне Маняшу-то...

Анастасия Дмитриевна молча передала в нянькины руки спящую малышку и поднялась в дрожках во весь рост. Её лицо побледнело, ноздри тонкого носа раздулись. Сейчас графиня Закатова как никогда похожа была на ногайскую княжну.

– Что вам угодно, ребята? – холодно спросила она, разглядывая незнакомцев. – Каких господ будете? Что это вы в моём лесу вытворяете? Сей же час освободите дорогу, не то... Фу, да вы и пьяны к тому же?!

– Барыня, барыня, потише б вы с ними, не то... – умоляюще зашептал Кузьма. Но конец его фразы потонул в нестройном гоготе:

– Вишь ты, барыня!.. Хмельных-то не жалует! Мотри, Фёдор, чичас ещё велит нам портки спустить да перепорет!

Чёрный, сумрачный Фёдор не улыбнулся в ответ. Его глаза угрюмо блеснули. Шагнув к дрожкам, он походя, огромным кулаком свалил на землю кучера и небрежно, как вещь, вытащил из экипажа Закатову. Та резко освободилась, попятилась. Сказала тихо, гневно:

– Как смеешь, хамово отродье! Прочь руки! Ступайте вон – и, клянусь, я не дам хода этому делу! Вы ещё можете...

Фёдор расхохотался ей в лицо, обдав густым перегаром. Товарищи поддержали его.

– Пугает... Смотри ты – пугает! Робя, – НАС страшает! – не мог успокоиться рябой, встрёпанный парень, который держал лошадей. – Охти мне, батюшки... Уж наскрозь, барыня, порты у меня мокрые с перепугу... Да что ты нам сделаешь-то, дура?! Будя с тебя, холера, насосалась кровушки! Наше времечко теперь! – подойдя к молодой женщине, он сорвал с неё дорожную накидку. – Ну, что, барыня, – сама рассупонишься, аль помочь? Нам с робятами привычно, мы – мигом...

– Бегите, Настасья Дмитриевна... – одними губами прошептала Дунька. – Хватайте дитё да бегите, я на их повисну... Помру – а не допущу!

Закатова лишь криво усмехнулась.

– Я – графиня Закатова, дурак. – чётко выговорила она в заросшее, нечистое лицо разбойника. – Вас и так уже ищут! Не сегодня-завтра конец и вам, и вашему атаману... этому Стрижу! Подумай, что будет, ежели вы... – не договорив, она с коротким вскриком рухнула на дорогу: тяжёлый кулак сбил её с ног.

– Да что ж ты делаешь, лешак?! – вскричала Дунька. – Как смеешь, разбойничья морда?! То ж Настасья Дмитриевна, барыня болотеевская! Нешто не слышал?! Отродясь от неё притеснениям людям не было! Всяк в Болотееве тебе скажет! А ну пошёл вон... Пошёл вон, сказано тебе! ОТДАЙ ДИТЁ, ХРИСТОПРОДАВЕЦ!!!

Дунькин вопль оказался такой силы, что чёрный Фёдор, выхвативший было из её рук младенца, невольно замер.

– Да ты чего орёшь-то, кликуша? – растерянно спросил он. – Барское дитё, чего жалеть? Они, небось, наших не жалеют!

– Сдурел, ирод?! Моё дитё, моё кровное, рождёное, хоть в церкви тебе забожусь! Отдай, варнак, креста на тебе нет! – вопила Дунька, таща ревущую благим матом малышку из рук разбойника. – Да ты глянь, глянь на неё! На Манюшку мою! И глазоньки мои, и волосики, и носишко! Отдай, Бога не гневи, проклятый, – крестьянское дитё! Грех на тебя падёт, что невинную душеньку губишь! Да отдай же ты, анафема, – слышь, как заливается?!

– Отдай ей, Федька, не грехи. – глухо сказал старший из разбойников. – Времени мало. Решай вон душегубицу, да прочь нам пора. Лошадей бы выпрячь ещё... И мужика с дороги оттащите. Петро, поглянь – жив он там? Экий ты, Фёдор, дурной... Приложил так, что теперь ещё, поди, и не выживет! Стриж такого над мужиками не велит творить!

– Откуда Стрижу-то дознаться, дядька Фрол? – хмыкнул Фёдор, поудобнее перехватывая в ладони топор и шагая к неподвижному телу на земле. – Вот ведь, впрямь, досада... померла, что ль? А я-то её пощупать хотел! Отродясь с

барыней не кувыркался! Ну, хоть цацки посымать... всё доход.

Двое разбойников торопливо принялись выпрягать лошадей. Третий поволок к обочине бесчувственного Кузьму. Фёдор, разорвав дешёвое саржевое платье, бестолково шарил руками по груди бесчувственной женщины. За ним, скорчившись на земле, безумными глазами наблюдала Дунька. Она уже не кричала и лишь судорожно прижимала к себе ребёнка. Двое разбойников полезли было в дрожки – и тут же выскочили оттуда:

– Дядька Фрол, да тут ещё одна сидит!

И сразу же дорогу накрыло таким пронзительным криком, что умолк даже младенец в Дунькиных руках:

– Ироды! Черти! Сатанаилы бесстыжие!!! Что творите, нехристи?! Кто вам на такое дозволение дал?! А ну подите прочь от барыни! Я Стрижу расскажу – не обрадуетесь!

– Это что ж за енарал на наши души? – недобро усмехнулся Фёдор. И в тот же миг усмешка пропала с его лица. – Мать-перемать... Васёнка, что ль?

– Она самая! – подбоченилась Василиса. – Слава господу, признал! Я Василиса и есть! Атамана вашего невеста наречённая! Стриж вас не похвалит, коль узнает, что вы барыню болотеевскую обидели! Небось, он и ведать не ведаёт, что вы тут спяну озоруете? Ох, доиграетесь, разбойнички! Стриж на расправу-то скор! Не любит, коль из-под его воли выходят! Я Ваське всё как есть расскажу, не смолчу! Сами гадайте, кому он скорей поверит!

Разбойники неуверенно переглянулись. Было очевидно, что Василиса попала в цель.

– Вот говорил я тебе, Федька... – пробормотал высокий парень. – Как бы и впрямь худа не вышло... Отойди от барыни, бог уж с ней.

– Отойти? – ухмыльнулся Фёдор. В его глазах мелькнула злая искра. – Васёнка мне не указ! У меня, может, своя такая была! Да не невеста, а жена! Была, покуда барин её не увидал... Да будь они прокляты все!!! – вдруг заорал он

замахиваясь топором. Послышался глухой удар. Два вопля – Дунькин и Василисин – взметнулись над дорогой. На грязное колесо дрожек плеснуло кровью.

– Лихо, Федька... – бормотнул дядя Фрол, отворачиваясь и незаметно крестясь. – Аккурат надвое...

Тяжело дыша, Фёдор отбросил топор, вытер рукавом лицо. Глухо, отрывисто сказал:

– Уходить надо живей. Васёнка, с нами пойдёшь!

Василиса выскочила из дрожек, рухнула на колени рядом с телом Закатовой и, схватившись за голову, завывала сквозь зубы. И в тот же миг на неё зверем кинулась Дунька.

– Сука! Сука проклятая! – взхлёб, давясь рыданиями, кричала она. – В аду тебе гореть, христопродавица! Разбойничья подстилка! Говорила я барыне, всё я про тебя знала, сука, псица окаянная! Пригрели мы с Настасьей Дмитриевной гадюку на груди-и-и... Ни совести в тебе... ни благодарности... Отплатила за добро... Ой, Настасья Дмитриевна, ой, бедная моя, бедная, да за что же... Сдохни, мерзавка, анафема тебе навечно!!! Проклята будь до седьмого колена, иудища!

– Дунька, уймись... Дунька, грех тебе... – бормотала Василиса, не уворачиваясь от яростных Дунькиных кулаков. – Дунька, да дитяню подыми, орёт ведь... Дунька, да напраслина же...

– Напраслина?! Ах ты, ведьма!!! – Дунька снова бросилась на неё, но сильный удар Фёдора отбросил няньку в кусты. Следом полетел и младенец.

– Забирай своё отродье! Да прочь пошла, дурища! Ванька, Фрол, берите Васёну! Иван, да возьми её на плечо, вишь – не в себе девка... Коней забирайте, и – пора нам! – он наклонился к неподвижному телу. – Вот ведь чёрт... одно прозвание, что барыня! Ни серёг, ни цепки стоящей, один крест... Да и тот медный!

– Не сымай с покойницы, грешно.

– Без тебя знаю. Да живей там с лошадьми-то!

Василиса бешено отбивалась, но ей зажали рот, скрутили. Иван вскинул её на плечо и поволок в чащу. Как только разбойники, ведя в поводу лошадей, скрылись в лесу, Дунька кинулась к своей барыне. И – вскричала утробно, страшно. В кустах надрывалась малышка. Бесформенным кулём валялся на обочине кучер. Дрожки тянули оглобли в серое, сумрачное небо. Натужно шумел бор.

* * *

В небе над тайгой парил ястреб. Он то спускался ниже, к самым макушкам могучих кедров, то, поднимаясь, делался похожим на крохотную точку, и Ефиму Силину приходилось щуриться против солнца, чтобы не упустить его из виду. Начало мая 1862 года выдалось в Иркутской губернии жарким, душным, грозовым. В воздухе сильно парило. Телега, груженная сырой глиной, мерно поскрипывала. Цвели травы, в воздухе облаком висела пыльца, и от этого сладкого запаха Ефиму страшно хотелось спать. Шагая рядом с лошадью, он то и дело встряхивал головой и от нечего делать прислушивался к разговору брата с заводским инженером.

– И к чему опять воз-то целый наклали, Василь Петрович? – удивлялся Антип. – И третьего дня ещё столько ж привезли... Всё едино мужики в Синея балке летом рыть будут! Летом доставят, и печи, какие надо, переложим. Этого-то, что мы нарыли, дай бог, на одну только печь хватит – и ту не в заводе, а в избе у кого...

– У меня, Антип, видишь ли, одна задумка имеется. – отозвался инженер, задумчиво вертя в губах соломинку. Василий Петрович Лазарев прибыл на завод три года назад. Это был огромный, хорошо сложенный силач тридцати двух лет с грубоватым, загорелым до кирпичного цвета лицом и светлыми, выгоревшими, как прошлогодняя солома, волосами, всегда находящимися в беспорядке. Из-под этой встрёпанной копны недоверчиво смотрели на божий мир светлые, почти прозрачные глаза с чёрной, острой точкой зрачка, которые поначалу пугали заводчан:

«Ишь, как глядит-то мастер новый... Чисто волчище таёжный! Небось, похлеще Рибенштуббе окажется!»

Каторжане до этого вдоволь намучились с прежним мастером – упрямым и бестолковым немцем – и не ждали от нового начальства ничего хорошего.

Лазарев, однако, удивил всех. Начал он с того, что отказался занять квартиру прежнего инженера, заявив, что семьи у него нет и хоромы в шесть комнат ему без надобности. Василий Петрович водворился в крошечной квартирке при винницах, которую немедленно забил книгами до самого потолка, выставил всю прислугу, объявив, что вполне способен обслуживать себя самостоятельно, и попросил для себя лишь кухарку, серьёзно пояснив удивлённому начальнику завода, что сам готовить по-людски, вот беда, так и не выучился.

В первый же день своей службы Лазарев обегал весь завод. Его можно было увидеть и в винницах, где в огромных перегонных котлах ворочалась брага, и в подвалах, где в печах билось белое пламя и сновали с лопатами голые до пояса кочегары, и у реки, откуда бабы тащили в упряжках воду, и в лесу, где в ямах пережигался уголь, и на дальнем карьере, на отломах которого добывалась глина для печей. Каторжане, приученные старым мастером при его появлении класть наземь инструменты и по-солдатски вытягиваться, пытались и с новым начальством вести себя так же. Лазарев сначала изумлялся этому, потом смеялся, потом растолковывал, что он не генерал и никакой военной выправки в своём присутствии не требует. Мужики качали головами и на всякий случай не спорили: присматривались. Когда Лазарев спрашивал их о чём-то, отвечали осторожно, с оглядкой. Но Василий Петрович оказался упрямее каторжан и не отвязывался до тех пор, пока не получал полного и обстоятельного ответа на свой вопрос.

Понемногу все привыкли к тому, что новый мастер пакостей народу не чинит, разговаривает по-человечески и к начальству жаловаться из-за пустяков не бегают. Работы на заводе было много, старые печи и винницы постоянно требовали то ремонта, то полной замены. Лазарев едва успевал повсюду, и в помощь ему отдали братьев Силиных.

Дело было летом, сезон на заводе закончился, начинался ежегодный ремонт печей и винниц. Перед началом работы Лазарев собрался обойти несколько глиняных отвалов и поискать другую глину. Прежняя, по его мнению, начала истощаться. Как ни в чём не бывало, он сообщил братьям, что начальник завода разрешил им отправляться с ним.

В мужском бараке это распоряжение вызвало недоверчивый смех:

«Во, ей-богу, даёт анжинер! Нешто не боится один с варнаками в тайгу идти? Али смелый через край, аль дурак! Любой бы испугался, что ему кандалами по башке шарахнут да сбегут! А этому хоть бы что! Хоть бы конвой попросил!»

Наутро оказалось, что никакого конвоя и в помине нет: с завода Лазарев и Силины вышли одни. Идти нужно было далеко: за шесть вёрст. Лазарев шёл легко и споро, походкой человека, которому много и часто приходилось ходить пешком. Утомить братьев тоже было трудно, и они топали следом, в лад брякая тяжёлыми ножными кандалами. Сначала Лазарев просто поглядывал на них. Потом начал хмуриться. Потом остановился и сердито сказал:

– Ребята, вы бы их, ей-богу, сняли. И вам легче будет, и мне. Никаких нету сил слушать этот малиновый звон!

Силины замерли. Переглянулись. Затем Ефим ухмыльнулся, а старший, Антип, осторожно сказал:

– Что это вы такое говорите, барин? Кто ж нам дозволит железа снимать? За это сами знаете что полагается... Да и как без кузнеца-то? Ежели вас звон беспокоит, так цепь подвязать можно, это мы мигом, а снимать – куда ж это гоже?..

– Правда? – искренне удивился Лазарев. – А мне рассказали, что эти штуки вы очень легко снимаете, когда хотите!

Антип не нашёлся что ответить и в полной растерянности полез в затылок. Зато Ефим расхохотался на весь лес:

– Ну, вы, барин, право слово, смелый! И не боитесь, что в тайгу урвёмся без желез-то?

– Ефим! – усмехнулся и Лазарев. – Мне почему-то кажется, что если вы вздумаете... как ты выразился?.. урваться, то вас ни я, ни эти железки особенно не удержат. Так или нет?

Ефим на всякий случай промолчал.

– То есть, снять не можете? – не унимался инженер. – Стало быть, это пустая болтовня, что кандалы стаскиваются с босой ноги через пятку?

Тут уж, не выдержав, рассмеялся и Антип.

– Отчего ж пустая? Можно... Только нам-то к чему? Мы люди смирные... Порядок есть порядок, к чему под кнут зазря соваться?

– Антип, под мою ответственность. – серьёзно сказал Лазарев. – Нам ведь с вами ходить придётся много. Лазить по тайге с такими украшениями будет очень тяжело, и мне от вас, получается, не будет никакого проку. Мужики, поймите, мне ведь делом нужно заниматься! Ведь, если эти кандалы легко снять, стало быть, и надеть потом обратно труда не составит?

Братья молчали, осторожно переглядывались, подавая друг другу какие-то знаки губами, бровями и пальцами. Некоторое время Лазарев наблюдал за ними. Потом вздохнул:

– Ладно. Когда надоест строить рожи – тогда и скажете мне, что решили.

Не оглядываясь более, он зашагал вперёд. Силины с мерным звоном тронулись следом.

Они отмахали ещё с полверсты, когда за спиной Лазарева послышался, наконец, голос Антипа:

– Барин, железа-то тоже так просто не снять. Их сперва сплюснуть надо.

– Ну так найди камень. – не оборачиваясь, велел Лазарев.

– Можно и камнем, только долго. Да и несподручно. Лучше мы вечерком в острого... А завтра уж, коли не передумаете...

– Стало быть, сегодня день пропал? – огорчился инженер. – Ну, ладно. Завтра – так завтра. А с рук кандалы нельзя таким же манером поснимать?

– С рук никак. – усмехнулся Антип. – Руки, извольте видеть, в тесное железо забирают, а не на сапог с портянкой. Тут без зубила или кузнеца не выйдет, да и назад потом не наденешь.

– Жаль... – расстроился Лазарев. – Нам ведь копать много придётся, тяжело будет.

– Это ничего, ваша милость, мы привычные.

Вечером Антип мельком уронил в остроге:

«Стоящий, кажись, анжинер наш.»

Ефим же окончательно зауважал заводского мастера после того, как однажды в лесу они с Лазаревым в шутку взялись бороться. В полную силу на каторге Ефим дрался редко, понимая, что может всерьёз покалечить противника. Но сейчас, к своему страшному изумлению, он почувствовал, что вполсилы ему инженера не одолеть. Пришлось бороться по-настоящему. И всё равно Ефиму понадобилось больше минуты, чтобы уложить Лазарева на лопатки.

– Да, здоров же ты, однако! – уважительно сказал тот, поднимаясь на ноги и отряхивая с куртки хвойные иголки. – Это первый раз в моей жизни!

– А вы у меня второй такой. – отозвался Ефим. – Обычно-то одним пальцем заваливаю враз! Ну, кроме Антипки, понятное дело, его и не считаю.

– А кто же тогда был первый? – заинтересовался Лазарев. Но Силин, не ответив, задал встречный вопрос:

– А вы-то, барин, где так насобачились? Через спину меня кинули, я и не понял как...

– Так я же кронштадский! – усмехнулся Лазарев. – Отец служил во флоте, брал меня сызмальства на корабли. Матросы и научили! И этому, и ещё много чему. Вот ты ремнём с медной бляхой дрался когда-нибудь?

– У нас на деревне за такое смертным боем бьют. – без улыбки сказал Ефим. – Слава богу, кулаком допрежь обходился.

Время шло. Все на заводе уже привыкли, что за главным мастером повсюду следуют братья Силины. Вскоре по личной просьбе Лазарева начальник завода дал разрешение снять с них ручные кандалы. Учились парни всему быстро, и через год они уже на равных с инженером могли распоряжаться на постройках новых печей. Летом Антип и Ефим неизменно сопровождали Лазарева в его блужданиях по тайге в поисках «хорошей глины». Та, что до сих пор использовалась для заводских построек, инженера совершенно не устраивала. Вечерами у себя на квартире он возился с образцами глин из разных ям и отвалов, за которыми иногда приходилось ходить за двадцать вёрст. Лазарев сравнивал куски синей, серой и белой глины, ругался, вручную формовал из неё кирпичи, обжигал в заводских печах, что-то читал в своих книгах, кому-то писал в Петербург и подолгу ждал ответа, потом опять тащил с собой Силиных в тайгу на поиски. Во время этих походов велись разговоры на самые разные темы. Понемногу Лазарев узнал и о жизни Антипа и Ефима на селе, и о том, как братья попали под суд, и о пути по этапу, и о разных каторжных событиях. О себе инженер тоже говорил не таясь: рассказывал о семье, в которой все были моряками, о том, как учился в морском корпусе, как потом пошёл в горную инженерную школу...

– Не пустил вас, стало быть, родитель по семейному-то делу? – удивлялся Антип.

– Да, видишь ли, ничего не вышло: открылась морская болезнь. Совершенно не выношу качки даже самой малой! Куда уж тут на корабль... Но я, знаешь, не в обиде на судьбу. – Лазарев вдруг, прервавшись на полуслове, прыгал в неглубокую каменистую яму и несколько минут сосредоточенно копошился в ней.

– Не золото ли сыскали, Василь Петрович? – усмехался Ефим.

– Не золото... но тоже неплохо. – Лазарев появлялся на поверхности с куском зеленоватого камня в руках. – Похоже на медный колчедан... неужто и здесь встречается? Надо будет дома посмотреть по справочнику.

– И стоило из-за этого в Сибирь забираться? – пожимал плечами Антип.

– А чем тебе Сибирь не Россия? – по светлым волчьим глазам инженера было не понять: шутит он или говорит всерьёз. – Вольному человеку и здесь не худо. Это вот вам...

– Нам тоже годяще. – серьёзно отзывался Антип. – Скоро по закону с нас железа сымут – и вовсе рай наступит. Там и до поселенья недалеко – проживём! Всё лучше, чем в Расее! Там семь шкур с нашего брата дерут, да голодуха такая, что впору в гроб самому укладываться! А здесь и харч подходящий, и работой не сильно мучают... ежели, конечно, на рудник не угодишь... и на съезжую почём зря не таскают...

– И бабы красивые! – вклинивался Ефим. – Здесь же, Василь Петрович, со всей Расеи самый цвет маковый собрался!

– Это с чего же ты взял? – смеялся Лазарев.

– Так сами же судите! Тут половина девок за то оказались, что барину даваться не хотели да ненароком его и порешили! Стало быть – девки красивые да характерные! Есть из чего выбирать-то! А без бабы в любом хозяйстве несподручно! Это ж и в Писании сказано: есть баба – так убил бы, а нет бабы – так купил бы! А здесь-то, на заводе, – сущая ярманка бабья! Берите каку хотите – за копейку пуд!

– Угу... Чтобы тоже схлопотать по башке?

– Ну, это уж... какая попадётся! И потом, осторожнее же с бабами надо – с оглядкой, с лаской... Нешто вас в ваших ниверситетах тому не учат? Вон, я и Антипку уж какой год пристроить не могу... Хоть ты режь его, не женится!

– Антип, а в самом деле, чего это ты? – удивлялся Лазарев. – За тебя-то, я думаю, любая тут с радостью пойдёт. Неужели до сих пор никого не присмотрел? Ефим вон давным-давно устроился...

– Не спешу, Василь Петрович. – отмахивался Антип. – Уж с этой глупостью всегда успеется. Вот железа сброшу, на поселенье выйду, хозяйство какое ни есть заведу – тогда, может, и подумаю. А ты прикройся... остолоп.

Последнее адресовалось брату, и тот неловко умолкал.

Единственным, что Антипу Силину не нравилось в заводском инженере, была неистребимая страсть Лазарева к хмельному. Раз в два месяца Василий Петрович аккуратно запивал. Впрочем, пьяным он безобразий не чинил, сидел у себя в берлоге, гоня за водкой Ефима (Антип нипочём не соглашался на подобные поручения), пил всегда один, бормоча при этом страшные флотские ругательства, и стучал кулаками по стенам и столу. Антип обычно терпел три-четыре дня. Затем приходил, вооружённый двумя вёдрами воды и, заперев все двери и окна, насильственным образом выводил своё начальство из запоя. На другой день Лазарев уже был на ногах и в ясном уме. И он, и Силины изо всех сил делали вид, что ничего не произошло. И лишь однажды Антипа прорвало:

– Ведь вот грех вам, ей-богу, Василь Петрович! С чего вас к винищу тянет? Сами глядите – одно безобразие через это! Работа стоит, Брагин ругается, от людей страм! И ведь коли б хоть дурачок какой был али пьянь каторжная! Ведь человек учёный, книжки вон какие толстые читаете! Для чего вам эта погань – в разум не возьму!

– От тоски, Антип... – хмуро усмехался, глядя в сторону, Лазарев. – Все русские только от неё, зелёной, и пьют!

– Вы за всех-то не насмеляйтесь говорить! Мы вон с Ефимкой отродясь...

– А почему, кстати? – удивлялся инженер. – Я смотрю, здесь, на заводе, вся каторга очень даже бодро употребляет...

– Мы – не каторга! – обиделся Антип. – Нам тятка заказал до могилы вина не пить, а далее – как сами пожелаем! Он и сам в рот не брал, и нам никому не позволял! Брат Сенька уж женатый был, трёх дочерей имел, раз в престольный праздник себе дозволил малость – да не посторожился мимо тятиного дома домой идти! Тятя увидал, вышел, во двор Сеньку заволок, чересседельник с воза снял – и давай Сеньку-то вразумлять! А ворота позабыл прикрыть, так всё село на сие поученье смотрело! Семён опосля забожился к кабаку и на полверсты подходить! А ваш папенька, не в обиду будь сказано, видать, упустил вас из рук-то... Вы хоть бабу в дом какую ни есть возьмите, прав Ефимка! Пущай следит за вами!

Последнему совету Лазарев довольно быстро последовал. Кухаркой в его холостяцкую берлогу направили Меланью – молодуху жгучей и смуглой южной красоты. Восемнадцатилетней девчонкой она пришла на каторгу за убийство свёкра. Старику понравилась юная жена сына, он прижал её в сенном сарае, Меланья принялась вырываться и, схватив первое, что попало под руку, от души треснула старого греховодника по голове. Под руку ей попался железный штырь: свёкор немедленно отдал богу душу. Меланья получила десять лет каторжных работ и отправилась по этапу. Когда на заводе появился Лазарев, она уже считалась поселенкой и служила у заводского попа.

Оказавшись в инженерских кухарках, Меланья в два дня навела порядок в комнатах, отмыла окна, выскоблила полы, отстирала на реке жирной синей глиной половики и, воцарившись на кухне, принялась стряпать щи и котлеты. Получалось у неё ловко, и Лазарев вполне оценил её старания: через две недели всему заводу было известно о том, что Малашка «протырилась» в любовницы инженера.

«Вот и слава богу, разговелись, Василь Петрович!» – радовался Ефим. – «А то что ж это – без бабы жить... вовсе скверно! И как вы только Малашку сговорили-то? Баба ведь строгая! И на руку скорая! Мужики наши сколько раз пробовали – ничего не выходило! Так и отлетали от неё кубарьками! Вот что значит – учёный человек подвернулся!»

Лазарев улыбался, молчал. Меланья ходила по заводу счастливая, носила строгие «городские» чёрные платья и узорные полушалки и завистливых шепотков не слушала. Дом инженера она держала в порядке, готовила, убирала, – не трогая, впрочем, фантастический беспорядок на рабочем столе, – чинила незатейливое лазаревское платье и бельё и даже развела в палисаднике цветы. Вместе с инженером они иногда надолго уходили в тайгу, гуляли там по прилескам, о чём-то серьёзно разговаривали. Работающие в ямах возле Судинки жиганы божились, что заводской инженер на руках носит Малашку к реке, и оба при этом хохочут так, что птицы стаями поднимаются с берегов. Антип, узнав об этом, окончательно успокоился:

«Всё! Прибрала Малашка Василья Петровича к рукам! Глядишь, теперь и грех запойный с него скатится! Когда добрая баба за дело берётся, всё на лад идёт!»

Старший Силин как в воду глядел: уже больше года ему не приходилось являться в дом своего начальства с полными вёдрами в руках.

... – Понимаешь, мы ведь год из года чиним эти заводские печи! – задумчиво говорил Лазарев, сшибая прутиком высокие метёлки донника. – И я никак в толк не возьму: откуда постоянно эти трещины? И ведь не по кирпичным швам, это бы ещё полбеды... а по самому камню? И, главное, аккурат посередине сезона хотя бы одна винница выходит из строя! И хорошо ещё, если без жертв и пожаров!

– Известно, отчего, – от жару... – пожимал плечами Антип. – Нешто можно этакое вытерпеть – ведь с утра до ночи топят! Как печь ни сложи – а всё едино больше сезона не выживет!

– Ну и почему, собственно? Я бывал на заводах в Поволжье, и там такого же сложения печи выдерживают без ремонта несколько лет. Домны на Чусовой – и те держат, а там ведь чугун льют! А у нас тут что? Нет, как хочешь, а всё дело или в глине, или в добавках!

– Уж какой год я от вас это слышу! – усмехнулся Антип. – А толку чуть! Уж чего только вы не пробовали!

– Сейчас должно получиться. – убеждённо сказал Лазарев. – Я говорил с Афанасием Егоровичем. Он дал добро на постройку пробной печи в новом корпусе! Всё равно раньше осени работы там не запустят, так мы с вами должны успеть...

– А вот эта, по-вашему, крепше будет? – недоверчиво спросил Антип, прихватывая с воза щепоть синеватой жирной глины и растирая её в огромной ладони.

– Мне кажется, да. Я провёл начальный анализ, и, похоже... Ефим, ну ты и зеваешь! Просто сквозняк по спине идёт! Чем ты ночью занят был?

– Прощенья просим, Василь Петрович, – закрыв рот, отозвался Ефим. – Танюшка у нас ночь напролёт пузом страдала. Известное дело – дитё малое... А Устька-то накануне вовсе не спала, потому новую партию пригнали. А там и обмороженные, и с язвами, и с дулями, и чего только нет! Ну, я её спать спровадил, а сам Танюшку всю ночь на руках и проносил... Уж светало, когда унялась!

– Знаешь, мог бы и сказать. – сердито заметил Лазарев. – Я бы тебе дал в кустах пару часов передремнуть...

– Ну, вот ещё! – отмахнулся Ефим. – И так у вас как у Христа за пазухой, грех Бога сердить... Ништо, не впервой. У тятки в деревне, как страда, – бывало, и по три-четыре ночи не спали! И попробуй привались где-нибудь в кусту – родитель сейчас вожжами аль супонью поперёк хребта! Мы хоть и на оброке завсегда были, так тятка не хужей барина над душой стоял, пошли ему здоровья... Антипка, это кто там едет? Вон, по-над берегом?

– Где? – Антип вытер потный лоб, повернулся. Река, сияющая от зноя, бежала в каменистых, поросших низким подлеском берегах. Один берег, на котором виднелись серые крыши винного завода, был пологим; другой возвышался высоким, заросшим лесом крутояром, по которому шла к мосту проезжая дорога. Сейчас по этой дороге ползла, спускаясь, телега, запряжённая рыжим коньком.

– Ну, Микешка едет... Как всегда. На завод, верно, кого-то везёт.

– У, фармазон... – процедил сквозь зубы Ефим. – Видит бог, доберусь я до него, выжиги!

– Да забудь ты про этот рупь несчастный! – хохотнул Антип. – Уж три месяца тому, всё едино не выжмешь.

– Надо будет – и выжму, и выбью, только не в том же суть! Он же сам чуть не на кресте божился: отдам, Ефим Прокопич, опосля Рождества! Рождество уж прошло давно, Троица на носу, – а рубля и в помине нет!

– Будто ты Микешки не знаешь? За полушку удавится – а тут рупь цельный...

– Нечего было тогда и трепаться! – мрачно заметил Ефим. – Антипка, может, прижмём его на мосту-то? В реку скинем? Пущай побултыхается, жила!

– Ума лишился? – нахмурился Антип, глазами показывая на Лазарева – который, впрочем, с большим интересом прислушивался к разговору братьев. – Понимай, что Микешка-то – поселенец, а ты – кандальник! Кому хужей-то окажется?

– Ну, хоть пужнуть-то можно? Бить не буду, право слово! Только постращаю! Василь Петрович, а?

– Ефим, не бузи! – строго велел Лазарев.

– И не буду, больно надо... Только где ж справедливость-то?

Но когда телега уже подкатывала к мосту, Ефим не утерпел. И, поднеся ладони воронкой к губам, издал тоскливый и протяжный волчий вой, далеко разлетевшийся по реке. Шедший впереди Лазарев недовольно обернулся. Антип вполголоса выругался. Ефим широко ухмыльнулся. Но улыбка сбежала с его лица, когда рыжий конёк вдруг пронзительно заржал, дёрнулся в оглоблях и, не слушая испуганных криков возницы, – понёс. Над рекой раздался отчаянный женский визг.

– Баб, что ль, он везёт?.. – изумлённо спросил Ефим, поворачиваясь к брату. Но Антипа уже не было рядом: он нёсся через камни и кусты, с треском ломая ветви, – напрямик. Ефим помчался следом.

Они вылетели на мост как раз в тот миг, когда по нему уже гремели копыта всполошённой лошади. Братья кинулись наперерез, Антип первым схватился за постромки, не удержался, отлетел в сторону. Телега накренилась, два истошных вопля взлетели над мостом, – и в это время подоспел Ефим.

– Стой, холера!!! Стоять!!! Тпру, нечистая сила, кому говорят! – он повис на вожжах, сдерживая лошадь. – Куда тебя, зараза, понесло?.. Сто-ой!

Рыжий, не слушаясь, метался в оглоблях. Ефима поволокло за ним по мосту. На мост посыпались узлы, саквояжи, чемодан, какие-то мешки. Прямо под ноги Ефиму вывалился вопящий Никифор:

– Ой, мужики, барыню-то споймайте! В реку ухнула!

Ефим оглянулся – и едва успел увидеть чёрную тень, мелькнувшую на речной глади. Крикнув: «Братка, держи рыжего!», он махнул через перила и полетел в воду.

Его сразу же прожгло холодом до костей. Река Судинка рождалась в вечной мерзлоте и не прогревалась до дна даже в самый страшный июльский зной. К счастью, Ефим почти сразу разглядел в тёмной воде колышущийся лоскут платья. Набрав полную грудь воздуха, он ушёл в стылую глубину, ударился лбом о донную корягу, подхватил лёгкую фигурку – и пробкой вылетел с ней на поверхность.

Брат и подоспевший Лазарев тем временем сообща, вцепившись с двух сторон в постромки, остановили бьющегося рыжего и поставили на ноги Никифора, который отделался располосованной в кровь щекой и шишкой на лбу. Когда над поверхностью реки появилась голова Ефима, все трое кинулись к краю моста.

– Барыню примите! – отфыркиваясь, хрипло крикнул тот. – Не трепещется... Наглотамшись, поди...

Втроём кое-как подняли на мост бесчувственную женщину в отяжелевшем от воды платье и плотной дорожной накидке.

– Не шевелится. – напряжённо сказал Антип. – Нешто вовсе захлебнулась?

– Не думаю. – отрывисто сказал Лазарев. – Нужно поскорей снять с неё накидку... и хорошо бы платье тоже. Подождите-ка... – он принялся расстёгивать блестящие круглые пуговицы. Антип тем временем отвёл мокрые волосы с лица женщины. Лазарев мельком взглянул на неё – и руки его замерли. С губ сорвалось невнятное восклицание. Антип непонимающе взглянул на него – но в это время на мост, отплёвываясь и ругаясь, выбрался Ефим. Его трясло от холода, скулы отливали синевой, по лицу бежала кровь из разбитого лба. Едва утерев её, Силин-младший набросился на Никифора:

– Микешка! Совсем твой рыжий ополоумел?! С чего он нести-то вздумал? Таёжный конь-то, волков всю жизнь слышит! Уж и вниманья обращать не должен давно! Как ты зимой-то ездешь, когда они за каждой ёлкой воют?!

– Вот ума не приложу, что со скотиной сотворилось! – дрожащим голосом оправдывался Никифор. Руки его тряслись, он никак не мог разобрать перепутавшуюся упряжь. – Прошлым годом медведь из тайги рявкнул – рыжий и ухом не повёл! Что с ним сейчас стряслось – в толк не возьму! Это, надо думать, оттого, что барыня за вожжи взялась...

– Чего?.. – не поверил Ефим. – Барыня – за вожжи?! Да чего ты врешь-то, Микешка?

– Истинно тебе говорю! – перекрестился Никифор и с ненавистью взглянул на неподвижную женщину. – Дай бог им, конечно, и здоровья, и благополучия, и чтоб не остудились... только никакого житья от них всю дорогу не было! Добро ежели хоть полверсты после Иркутска молчком проехала, а уж опосля-я... Всё повыспросила, до самых кишок добралась! И как мы тут живём, и много ль в лесу разбойников, и не страшно ль с каторжными обитать, и верно ль, что в тайге золото пластами лежит... Сама чепуху всякую рассказывает, что, мол, теперь в столицах бабы с мужиками равные и начальство это вовсе даже позволяет, и скоро повсюду так же будет... Ни на миг не умолкала, а ведь от Иркутска пять дён ехали! К вечеру у меня аж звон в голове зачинался! Знал бы – и на целковые её не купился бы: живот-то дороже! Уж нынче к заводу подъезжаем, думаю – ещё версты три-четыре, и вздохну слободно, – ан нет! Подай ей, вишь ли, рыжим править! Умеет, мол, она! Я и так, и сяк, несподручно вам будет, говорю, непривычные... Ничего слушать не желает, дай ей и дай! Ладно, думаю, конёк смирный, финта не выкинет... Дал. И враз вижу, что отродясь она вожжей в руках не держала, а спускаться уж к реке начали... Отдайте, говорю, барыня, не сердите бога, берег крутой, как раз сковырнёмся! А она, как блажная, только смеётся и за вожжи держится! Я уж на господню волю положился, молюсь, чтоб рыжему под шлею какой гнус не ткнулся... а тут этот волк возьми да завой! И с чего ему середь весны приспичило?! Сорок лет через тайгу вожу, а весной да летом волков не слышал! Потому – сытые они летом-то...

Ефим предпочёл оставить вопрос Никифора без ответа. К счастью, в это время застонала женщина.

– Ну что, Василь Петрович? Очужалась?

– Да, пришла в себя... – отозвался, не поднимая головы, Лазарев. – Видимо, просто был обморок... от слишком холодной воды. Платьем пришлось пожертвовать. С твоей стороны, Ефим, было довольно глупо так шутить!

Последние слова были брошены резким, холодным тоном, которого ещё никто на заводе не слышал от инженера. Ефим с досадой опустил голову. Антип поспешил сказать:

– Давайте, Василь Петрович, мы барыню укутаем чем ни есть, – и в завод скорей. Ефимка, Никифор, вы там узлы соберите, не дай бог, потеряется чего! Барыня-то, видно, не из простых, и платье дорогое... Не взыщет она с вас-то за него, Василь Петрович? Вон как сверху донизу разорвали, теперь и не починить, поди...

– Думаю, что не взыщет. – не сразу ответил Лазарев. Подняв женщину на руки и шагнув с ней к телеге, он медленно, словно раздумывая над каждым словом, сказал. – Дело в том, что это... в некотором роде... моя жена.

– Чего?.. – оторопел Антип. Но телега Никифора уже тронулась с места, и до Силиных долетел лишь крик инженера:

– А вы сушитесь – и возвращайтесь сами на завод! Глину всё-таки надо довести, Антип! И про кандалы свои в кустах не забудьте!

– И то правда. – спохватился Антип. – Сейчас бы так и вернулись – будто вольные... Ну, что стоишь, анафема?! Рассупонивайся! Сушиться будешь! Тьфу, варнацкая твоя душа! Наворотил опять дел!

Ефим, не отвечая, ожесточённо тянул с себя через голову мокрую рубаху. Та не поддавалась, липла к телу и в конце концов разорвалась от рукава до подола.

– Тьфу, сгори ты, проклятая! – скомканная рубаха полетела в реку, серым лоскутом легла на воду и неспешно поплыла по течению. Ефим лёг навзничь прямо на разошедшиеся доски моста, закрыл глаза. Дождался, пока брат сядет рядом. Тихо спросил:

– Что ж будет-то теперь, братка?

– Не знаю. – не сразу отозвался тот. – Вон, стало быть, как... Жёнка у нашего Василья Петровича имеется. Где ж её носило допрежь-то? И отчего он про неё ни слова не говорил?

– Отчего... Кто ты ему, чтоб он тебе доклагодался? – хмуро усмехнулся Ефим. – Вот ведь чёрт... И надо ж было так барыню-то опрокинуть нескладно... Огребём теперь лиха!

В небе над рекой по-прежнему парил ястреб. Следя за его неспешным полётом, Антип вполголоса подтвердил:

– Теперь уж всяко может быть.

– А может, пронесёт? – без особой надежды спросил Ефим. – Василь Петрович – мужик справедливый. Он сам видел, что не нарочно я...

Антип с сердцем махнул рукой:

– Угу... Все люди справедливые-то... покуда до их собственных баб дело не доходит. Вот кабы твою Устинью кто с моста в реку сбросил из баловства пустого... Что бы ты с тем человеком сделал, а?

Ефим честно представил себе, ЧТО бы он сделал. Потемнев, передёрнул плечами.

– А тут дело вовсе мутное. – со вздохом продолжал Антип. – Сам суди: три года ни о какой жене ни слуху ни духу не было! И знать никто не знал, что мастер наш – семейный! А тут вдруг как с неба упала! Отколь мы знаем, что там промеж них было? Может статья, Василь Петрович теперь и про всякое справедливие забудет. Как ни крути, он – начальство, а мы – люди кандалные. Кабы тебя теперь на Зерентуй в рудники не сослали.

– Нешто за такой пустяк на Зерентуй шлют? – принуждённо усмехнулся Ефим. – Может, просто отхлестать велят – и всего-то дел... Первый раз, что ль? Spина, слава богу, своя, не казённая.

– Дай бог... Устинью-то с тобой, случись беда, не отпустят. И меня тож. Как будем, братка?

– Ты с Устькой тут останешься. – не поднимая взгляда, сказал Ефим. – Как ещё-то?

Антип молча посмотрел на него. Невесело усмехнулся каким-то своим мыслям, отвернулся. Чуть погодя сказал:

– Ты смотри, Усте Даниловне покуда ничего не говори. Чего её полошить зазря? Ей и так беспокойства хватает. Уж коли ясно наше дело станет, тогда...

– Без тебя знаю. – огрызнулся Ефим. – Не бойся. Не скажу.

– Устя, я, право, не знаю, что мы можем сделать. – вполголоса, тревожно сказал Михаил Иверзнев. – Нога как колода. Вероятней всего, заражение уж налицо. Даже если взрезать от колена до щиколотки... Лампасными разрезами... Всё равно там будет куча свищей, и... Он всё равно, считай, остался без ноги. Теперь только отнимать.

Помощница Иверзнева, не отвечая, молча убирала грязные тряпки. Это была сероглазая женщина лет двадцати трёх, с хмуроватым, тёмным от загара лицом. Между её широкими бровями лежала сосредоточенная морщинка. Волосы Устиньи были тщательно убраны под холщовую косынку. Между делом она вполголоса приговаривала:

– Потерпи, Илья Иваныч... Потерпи, сердешный, чуточку осталось. Пошто ране-то не пришёл? Ведь такое не враз начинается! Чего ждал, какого царствия небесного?

– Думал – само пройдёт. – отрывисто сказал Илья Кострома. По окаменевшим желвакам на его скулах было видно, какую страшную боль он терпит.

Костроме было около сорока лет. Это был убеждённый бродяга, бывалый каторжанин и умелый вор. На его подтянутой, суховатой фигуре ладно сидел каторжанский азам, всегда подпоясанный с некоторым кокетством тканым кушаком, которым по неведомым причинам Кострома очень дорожил. Этот невозмутимый мужик со спокойной улыбкой и жёлтыми, как у лесного кота, глазами всю жизнь болтался по России – от Сибири до Крыма, – сидел понемногу во всех губернских тюрьмах, работал и в рудниках, и на фабриках, и на железной дороге, и не было такого ремесла, которого бы он не знал. На заводе Кострома распорядился плотницкими работами, и новый корпус винницы под его руководством рос, как на дрожжах.

«К чему тебе бродяжить, Илья?» – искренне недоумевал Лазарев, глядя на то, как ловко Кострома управляется с топором. – «Я бы на твоём месте, когда вышел

на поселение, собрал бы артель – и царские деньги зарабатывал!»

«Не... Тоска меня возьмёт, Василь Петрович!» – Илья безмятежно щурил золотистые глаза. – «Характер у меня не мужицкий, а воровской. Мне без риска, без лихого дела хоть в петлю лезь – тоска... Когда вот на каторге проклажаюсь – тогда, конечно, роблю, а куда деться? Но вот как на воле окажусь!.. Тогда ночь-матка в помощь, Господь-Бог на стрёме! Сичас вот только тепла дождусь – и в тайгу! Лет с пяток обо мне и не услышите!»

Несмотря на прозвище, Кострома говорил без волжского оканья, правильным городским языком, лишь изредка, «для форсу», вставляя блатное словцо. Поговаривали, что он из староверов, но сам Илья это не обсуждал никогда.

Сейчас Кострома лежал в «смотровой» заводского лазарета на широкой скобленной лавке, запрокинув побелевшее от боли лицо. Устинья, наклонившись, внимательно осматривала его вздутую, побагровевшую ногу.

– С чего началось-то, Илья Иваныч? Зашиб?

– Зашиб. – сквозь зубы подтвердил Кострома. – Топор, вишь, обухом на ногу упал. Я, дурень, ещё порадовался, что обухом, а не лезвием... Потёр, да и забыл. А она, проклятая, ныть начала. И чем далее, тем хуже! Завязывать пробовал...

– Почему не пришёл? – снова сердито спросил Иверзнев. – Может быть, не дошло бы до такого! И что ты за человек, Илья?! Другие с пустяковым порезом в лазарет бегут да чуть ли не гнойную гангрену из царапины представляют, чтобы пару дней на койке передохнуть! Иванов-пятый давеча Прохорова корня наглотался, чтобы жар себе поднять! Чуть не помер, дурак! А у тебя всё навыворот!

– Не могу лежать-то подолгу... Скучно! И работа, опять же, стоит, а ведь уже под стропила подвели! Много ль без меня наши лапти настроят? – Кострома вдруг приподнялся на локте и впился тревожными глазами в лицо доктора. – Михайла Николаевич! Нешто впрямь ногу оттяпаете? Куда ж мне без неё-то? Ни в работу, ни в рисковое дело... Это что ж – теперь и в побег, что ль, летом не уйти?! Барин! Устя Даниловна! Тогда уж, воля ваша, сразу насмерть режьте! Не буду без ноги существовать!

– Помолчи! – резко приказал Иверзнев. – Устинья, мне надо с тобой поговорить.

Фельдшерица кивнула и, перед тем, как выйти вслед за доктором из смотровой, ловко собрала и швырнула в лохань грязные тряпки, снятые с ноги Костромы. Тот поймал её за юбку:

– Устя Даниловна! Я ведь знать должен...

– Потерпи, Илья Иваныч. – спокойно сказала она, высвобождая подол. – Я тебе слово даю, что без твоего согласия ничего делать не станем. Полежи покуда.

Вор откинулся на лавку и, едва дождавшись, пока за Устиньей закроется дверь, бешено, сквозь стиснутые зубы, выматерился. Глаза его влажно, подозрительно блестели.

– Устя, надо отнимать ногу. – жёстко повторил Иверзнев, оставшись наедине со своей помощницей в маленькой «лаборатории», увешанной по стенам пучками сухих трав и корешков. – Более тут ничего сделать нельзя. Я видел такие вещи на войне. Гниение пойдёт выше, и он просто умрёт от заражения крови. Которое, не дай бог, уже началось, и тогда... Устя, будем отнимать! Мы, по крайней мере, жизнь ему спасём!

Устинья молча покачала головой.

– Ты не согласна? – изумлённо спросил Иверзнев. – Но... что же ещё, по-твоему, можно сделать? Взрежем, почистим... но ведь надежды всё равно никакой! Вовсе никакой! Он уже весь горит! К ночи жар поднимется выше – и всё! Устя, о чём ты думаешь? У тебя были похожие случаи?

– У самой не было. – Пальцы Устиньи мерно постукивали по краю выскобленного стола. – А бабушка вот делала. Был у неё случай такой. В Болотееве нашем. Тоже мужику на работах локоть зашибло. Он и не спохватывался, покуда его втрое не разнесло да жар не поднялся... всё как у Ильи Иваныча!

– И что же сделала твоя бабка?

– Перво-наперво вскрыла да гной выпустила. А после – потихоньку, травками... Сбор особый есть. Зверобой да мышья трава, да ещё мать-и-мачеха. А дальше уж, ежели выживет, то щавелевым корнем с чередой в равных долях да ещё...

– Ежели выживет, Устя! – тихо напомнил Иверзнев. – Надежды нет.

– Тот мужик у бабушки поднялся. – упрямо сказала Устинья. – Всё лето мы его подымали. Однава думали, что уж – всё... Да болями он, сердешный, долго маялся! Уж как только бабку не проклинал, что сразу помереть не дала! А к осени – поднялся! И рука не отсохла, а вовсе живой осталась, только что гнулась плохо. – Устинья вдруг прямо взглянула в лицо доктора серыми серьёзными глазами. – Михайла Николаевич, я с вами спорить не стану. Вы – доктор, и решать вам. Право слово, я и сама не знаю, что лучше... Илья Иваныч! Да что ж это такое! Нешто я дверь не заперла?!

Иверзнев обернулся. В дверном проёме, держась за косяк, с перекошенным от боли лицом стоял Илья Кострома. Услышав возглас Устиньи, он криво ухмыльнулся:

– Как есть заперла, Устя Даниловна. Так какой запор от знающего-то человека?.. Барин, вот моё тебе слово: не дам ногу отымать! Меня вся каторга знает, я слов на ветер не бросаю. Коль отрежешь – в тот же день в петлю влезу. Я тебя не стращаю, не думай. Просто мне так сподручней будет, чем с культяшкой маяться.

– Но, Илья, послушай... – растерянно начал было Иверзнев. Но вор перебил его:

– Пущай Устя Даниловна делает, как говорила. Помру – стало быть, воля божья, отгулял своё. Вашей вины не будет, а мне так лучше.

Иверзнев посмотрел на Устинью. Та глубоко вздохнула, словно перед прыжком в воду. Решительно сказала:

– Илья Иваныч, я тебе врать не стану. Может статься, впрямь не выживешь. Нога твоя вовсе худа. Коль Михайла Николаич тебе её отымет – живым будешь и ещё много лет проживёшь. А коль я возьмусь по-бабкиному лечить – ещё невесть что получится, потому как...

– Лечи, Устя Даниловна! – хрипло перебил её Кострома. Жёлтые глаза его отчаянно смотрели в лицо фельдшерицы. – Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Лечи, бог в помощь.

– Больно будет – страсть...

– Ничего. Бог терпел и нам велел. Дай водки, коль не жаль, да палку какую в зубы. – вор вдруг прислушался к чему-то во дворе и усмехнулся. – Да вон и Ефим твой пришёл! Зови, пущай держит.

– Ну, коль так... – Устинья перекрестилась и быстрыми шагами вышла в сени. Вскоре её голос раздавался уже со двора. – Ефим! Переоденься живо, руки вымой да поди! Да Антипа Прокопьяча тоже зови! Держать надобно! Ну, Михайла Николаич, – помоги нам Христос...

Операция длилась долго. Первыми, как обычно, из «операционной» вышли вспотевшие и злые братья Силины. Им в обязанность обычно вменялось держать больных при хирургических вмешательствах, и дело это оба брата терпеть не могли. Обойтись без них, однако, никак нельзя было: в стальных тисках силинских рук ни один заводской страдалец не мог даже трепыхнуться.

Солнце успело спуститься над крышами, повисеть в окне красным шаром, а затем и скрыться за дальним лесом, накрыв завод мягкими весенними сумерками. В небольшом «предбанничке» лазарета собралось довольно большое общество. На лавке у окна сидела заводская стряпуха Анфиска, которая пришла покормить двухмесячную Устиньину дочку. Присосавшись к набухшей груди кормилицы, Танюшка умиротворённо чмокала. Собственный младенец Анфиски в это время деловито ползал по полу, атакуя сапоги Ефима. Ефим стоял, опёршись о притолоку, тянул из корчаги ледяную воду и между глотками облегчённо вздыхал:

– Вот спасибо-то тебе, Анфиска... Никакого с ней сладу нет, когда Устька занята!

– А я сколь разов тебе говорила – не дожидайся, покуда дитё закатываться начнёт! – ворчала Анфиса. – Как проснулась – сейчас хватай и до меня тащи! Нешто мне труда много – младенца покормить? Молока-то, слава богу, – хоть на торг выноси... Смотри-ка, до чего дитятю довёл – титьку хватать поначалу не

хотела, плакала!

- Да думал - сама уснёт. - оправдывался Ефим. - Бывало ж так - поносишь, покачаешь... Сегодня, видать, настроенье у ней не то. Антипка, поди убогую с улицы приведи!

Антип вышел из избы - и вскоре вернулся, ведя за руку девушку лет двадцати в грязном казённом сарафане. Грязь была ещё сырой, её пятна покрывали и лицо девушки, и её неряшливо повязанный, сбившийся набок платок.

- Анфиска, тряпицу подай там - личность вытереть Васёнке...

- Опять, что ль? - посочувствовала стряпуха, оглядываясь в поисках полотенца. - И что за нужда бабам блажную обижать? Василиса им не ответить, ни отругнуться в ответ не может... Всё равно что младенца цапать! Васёнка, да ты поди обмойся! Вот ведь горе... ей-то будто и всё равно!

- Так ведь бабам-то тоже тяжко, Анфиска! - с досадой ответил Антип, подталкивая Василису к бадье с водой и подхватывая поданное полотенце. - То не бабы повинны, а начальство... Вольно ж было убогую наряжать воду таскать! Бабы-то вместе с ней в одной упряжке бочку тянут-надрываются, - а Васёнка то замешкается, то встанет, то вовсе наземь сядет... Всеми делу остановка! Бабы раз скажут ей, другой, третий, после орать начнут... А потом уж и терпёж рвётся! Сами все надорванные, где им Васёнку-то жалеть! Её бы в другое место куда... чтоб не мешалась никому. Василиса, да ты смотри - льётся ведь у тебя! Тьфу... Дай-ка я сам!

Антип мягко отстранил Васёну от бадьи. Сам, черпнув воды, умыл её, вытер лицо потёртым полотенцем, усадил на лавку и сунул в руку кусок хлеба. Василиса поднесла было ломоть ко рту - но рука её опустилась, едва поднявшись. Хлеб упал на пол. Девушка не нагнулась за ним. Антип, вздохнув, поднял его и положил на лавку. Васёна не повернулась. Её исхудалое, бледное, невероятно красивое лицо осталось неподвижным. Синие, большие глаза тупо, не мигая, смотрели в угол.

Василиса пришла на завод этой весной с очередной кандалной партией. Заводчане, взбудораженные было её красотой, быстро отступились, поняв, что вновь прибывшая красавица - «блажная». Подробности рассказал Ванька Чигирь

– молодой вор, прибывший в одной партии с Василисой.

– Вовсе ничего не смыслит, мужики! Целыми днями по этапу шла, в одну точку смотрела – по грязи, по воде, по льду... всё едино! Как через деревню какую идём – другие бабы сейчас просить, жалостное петь, железами греметь, а эта – ни словечка! Даже не глядит! В самую руку уж ей кусок сунут – ещё и не заметить может! Вовсе шамашедчая! С морды-то красивая... Кандальники наши, кто без своей бабы шёл, почитай что все к ней под юбку перелазили – так ей и то пустяк! Мужики-то обижались даже, дурни! А чего обижаться, коли у бабой с головой нелады? Я и сам на неё влезал, было дело под Владимиром ещё... Вот вам крест истинный – с колодой дубовой перелюбиться легче! Лежит эта Васёна – и не шевелится! Ещё и всхрапнуть под тобой может... На кой чёрт она нужна, дурища? Не-е-ет... по мне, пусть лучше с рожи неказиста – зато живая и дрыгается!

Каторжане ржали. Василису оставили в покое.

В бабьем бараке убогой тоже пришлось несладко. Каторжные женщины общими стараниями старались, как могли, поддерживать чистоту в своём жилище. Немало этому способствовала и фельдшерица Устинья, прямо говорившая, что половина всех болезней – от грязи и что ленивых чушек она лечить не станет. Пол всегда был метён и мыт, со стен смахивалась паутина. Бабы даже умудрялись в свободное время плести тряпочные половики и вовремя их стирать. Васёна же не замечала ни своей грязной, порванной одежды, ни измазанных глиной ног.

«Явилась, свинюха, на наши головы...» – бурчали бабы. – «И ведь пришло начальству в ум блажную на каторгу слать! Небось, и убила кого-то по слабой голове... так за что ж убогую судить? А нам теперь что с ней делать? У нас ведь дети тут по полу ползают! Устя Даниловна крепко-накрепко велит, чтоб чистота была, а эта?!. Нанесёт грязи и не заметит, сама хуже дитяти! Так дитё хоть вразумить, научить можно, а этой – что в лоб, что по лбу! Зла на неё не хватает!»

Ещё хуже стало, когда Василиса оказалась «в упряжке». Каждый день бабы, впрягаясь по десять-двенадцать в ременные петли, волокли от реки бочки с водой для заводских нужд. Двигаться нужно было непременно в ногу, дружно и слаженно. Василисе же ничего не стоило остановиться посреди дороги и уставиться на плывущие в небе облака. На неё кричали, замахивались, колотили

между лопаток кулаком, – а она лишь вздрагивала и тупо смотрела синими огромными глазами на разъярённых товарок. Дважды потерявшие терпение каторжанки били её всерьёз. Сегодня был третий раз.

– Убирать её из упряжки надо, не то бабы её вовсе порвут. – хмуро сказал Антип. – Нешто до начальства сходить?

– Оно тебе надобно? – пожал плечами Ефим, думая о своём.

– Да жалко ж... – Антип вдруг умолк на полуслове, глядя через плечо брата на Василису. Недоумевая, Ефим повернулся и увидел, что та встала и пошла к столу, на который ещё утром Устинья вывалила ворох принесённого из тайги борца. Разобрать их фельдшерица не успела, и лиловые, трубчатые соцветия пахли терпко и остро на всю избу. Наклонившись, Василиса внимательно разглядывала их. Затем её разбитые, все в коричневой корке запёкшейся крови губы дрогнули в слабой улыбке.

– Цвето-очки... – медленно, протяжно выговорила она. – Цветики госпо-одни...

Антип изумлённо взглянул на неё:

– Васёнка! Тебе цветочки нравятся?

Но Василиса вздрогнула от его голоса, словно от удара, неловко опустилась на лавку, и лицо её потухло.

Антип вздохнул. Взглянул на сумрачную физиономию брата. Вполголоса сказал:

– Не изводись ты до времени, братка. Обойдётся ещё, может...

Ефим не ответил.

– Михайла Николаевич, кормилец, спасу нет... – простонала Устинья, в первом часу ночи падая на лавку в «смотровой». – Дозвольте хоть нынче без писанья обойтись!

– Устинья, я тебе не могу приказывать. – Иверзнев, осунувшийся от усталости, убирал в шкаф скатки бинтов. – Но мы ведь с тобой договорились! И я сам сейчас сяду заполнять историю болезни! Знаешь, уж коли что решено – надо выполнять. Хотя бы пять минут, Устя! Хотя бы десять строчек! Ты ведь уже шестой день про синюху дописать не можешь! А ночью у Костромы может наступить кризис, и вовсе уже будет ни до чего!

– Да когда же тут... – начала было Устинья, – но, увидев, что Иверзнев решительно вытащил с полки разбухшую тетрадь и чернильницу с пером, только тяжело вздохнула.

– Воля ваша. Дайте только сбегаю Танюшку покормлю да положу.

За окном сгустились сумерки, и сквозь заржавленную решётку в комнату робко смотрел молодой месяц. В «операционной», где днём «вскрывали» ногу Костроме, уже всё было отмыто и отскоблено. Окровавленные тряпки мокли в лохани, прокипячённые хирургические инструменты сохли под полотенцем в жестяной миске. Из-за прикрытой двери в общую палату доносился ровный, дружный храп.

– Сегодняшнюю операцию я просто обязан описать! – Иверзнев торопливо раскладывал на столе письменные принадлежности. – Мы такого не делали даже на войне в госпитале! Даже Пирогов не брался!

– А ну как помрёт Кострома у нас ночью? – робко спросила Устинья. – Жар-то держится, не падает! Уж и так кажин час обтирать хожу...

Иверзнев ничего не ответил. Решительно придвинул к себе тетрадь и принялся строчить. Устинья молча взяла с полки стопку бумаги. Она выучилась грамоте три года назад, но писать на сшитых тетрадных листах ей было по-прежнему трудно: особенно огорчали её кляксы. Видя её переживания, Иверзнев привозил ей из Иркутска обычную писчую бумагу. Чтобы не изводить время на скучные упражнения, Михаил заставил свою помощницу составлять травник.

«Устя, ты даже не понимаешь, какую можешь создать полезную книгу! Я ведь и половины не слышал того, что ты знаешь о травах и корешках! Нас совсем не тому учили в университете! Вот, не дай бог, расстанемся мы с тобой, увезёт тебя твой Ефим на поселенье – и что я буду делать один? Как лечить местное

общество? Сделай милость, каждый вечер пиши хоть по несколько строк о каждой травке! Где растёт, для чего используется, в какое время лучше собирать, как сушить и хранить... Ведь сколько вас, таких знахарок, по глухим деревням пропадает, а все знания только и передаются из уст в уста! А ежели ведунья помрёт неожиданно?!»

«Не может такого случиться.» – серьёзно возражала Устинья. – «Ни одна ведовка не помрёт, покуда силу не передаст внучке аль дочке. Без того её и Господь не примаёт! Вот мне бабушка сказывала, её мать десять дён при смерти лежала, покуда бабка на барских работах в дальней деревне была! Высохла вся, посинела, язык уж отнялся – а всё не помирает! Бабка вернулась, в избу вбежала, только-только успела матери руку дать – та враз ей силу и скинула! И в тот же миг отошла! По-другому-то никак нам...»

«Тебе лучше знать.» – дипломатично говорил Иверзнев. – «А травник всё-таки пиши! И тебе упражнение, и потомкам польза! А мне просто спасение будет! И обязательно – хоть понемногу, но каждый день!»

Взяв с верха стопки наполовину исписанный большими старательными буквами лист, Устинья некоторое время, шевеля губами, перечитывала написанное, потом аккуратно окунула перо в чернильницу и принялась писать.

– Михайла Николаевич, «леший» через «есть» или через «ять» писать надобно?

– Через «ять»... – рассеянно отозвался Михаил, который самозабвенно строчил в своей тетради. – А зачем тебе понадобился леший в научном труде?

– Да как же? Синюху после «леших дней» брать вовсе нельзя, у неё в горечь весь корень уходит! – высунув от усердия язык и не замечая чернильных пятен, размазавшихся по щеке, Устинья выводила корявые буквы.

– Так не пиши «лешие дни»! Пиши, как полагается... как там в Святцах? На Ерофея-мученика? Стало быть, четвёртого октября.

– Хоть «октября»-то мне напишите!

– Сама, сама! Посмотри вон, как в календаре это писано, и... Петька, чего тебе?

– Дрова принёс, барин! – двенадцатилетний мальчишка с грязными, падающими на глаза волосами шагнул через порог с охапкой поленьев. – На завтра вот... Устинья Даниловна, дядя Ефим спрашивает – спать пойдёшь ли?

– Опосля, Петька, опосля... не сбивай! – отмахнулась, не поднимая глаз, Устинья. – Сами-то поели?

– Поснедали с дядей Ефимом. Танюшку Анфиска уложила.

– Вот и спасибо ей... ступай. Скажи Ефиму, что спать не приду, у Костромы перелом наступить может.

Петька понимающе кивнул, аккуратно сложил дрова на полу у печи и вышел. Это был обычный каторжный мальчишка, появившийся на заводе год назад вместе с очередной кандальной партией. Мать его умерла в пути. Голодного и напуганного пацанёнка с обмороженными ногами отправили в лазарет, где за него взялась Устинья. Петьке повезло: все пальцы на ногах удалось спасти. Вскоре он лихо рубил дрова в больничном дворе, таскал воду и без капли безразличности стирал в лохани перепачканные кровью и гноем полотняные бинты. Устинье и Ефиму мальчишка пришёлся по сердцу, и довольно быстро Петька перебрался к ним на постоянное житьё. Когда Устинья забеременела, её замучили постоянные головные боли и головокружения. От приступов тошноты по утрам иногда было невозможно встать, и без помощи худого и молчаливого подростка Усте пришлось бы совсем невмочь.

«Господь мне тебя послал, Петька!» – с улыбкой говорила она. – «Ну вот что бы я без тебя делала-то?»

«Да ладно тебе, тётка Устя...» – по-взрослому отмахивался тот. – «Говори, чего нынче пособить надобно?»

«Полы бы в смотровой вымыть... В палате из-под лежачих вынести... Да не убивайся всмерть, я сейчас и сама уж встану...»

«Лежи, куда уж... Велика работа!» – цедил сквозь зубы мальчишка и, подхватив в сенях ведро, вприпрыжку нёсся через лазаретный двор к реке.

Вскоре к долговязой, нескладной Петькиной фигуре привыкли и больные, и доктор, и заводское начальство. Когда же родилась Танюшка, Петька и вовсе перешёл в бессменные няньки. Миссию свою он выполнял без спора и даже с удовольствием, качал в люльке Танюшку, носился с ней на руках в женский барак к Анфиске и успевал ещё наносить воды и наколоть дров. А по вечерам неизменно оказывался в лазаретной палате, где Устинья рассказывала «болящим» свои сказки.

Ночь тянулась долго. Тикали часы на стене, покрикивали часовые у заводских ворот. Скрипело перо Устиньи. Иногда скрип прекращался: Устинья роняла отяжелевшую голову на стол. Но, тут же очнувшись, тёрла глаза и упрямо продолжала писать. Иверзнев, который уже закончил заполнять свои бумаги, несколько раз пытался отправить её спать, но Устинья, уже увлечённая, мотала головой:

– Нет, Михайла Николаевич. Уж хоть про синюху дописать, а то, и впрямь, сколько ж можно... Не женьшень, чай, чтоб цельную неделю на неё одну тратить! Как написать, ежели лист навроде рябины – одиночкой без пары заканчивается? Длинно эдак по-учёному говорится?

– Непарноперистый. – Михаил вдруг резко поднял голову. – Устя... ты слышишь?

Но Устинья уже и сама вскочила с места, уронив перо на бумагу. Большая клякса расплылась прямо на недописанном слове «непарноперистый».

– Кострома это! Охтиньки... – не договорив, она кинулась в палату.

В большой комнате было светло от лунного света. Голубые квадраты лежали на полу. С нар свешивались въерошенные головы.

– Кострома страдает, Устя Даниловна. – уважительно доложил Ванька Сухой – старый каторжанин с обожжённым дочерна на последнем пожаре лицом. – Ты велела покликать...

Устинья подошла к нарам у окна. Осунувшееся, искажённое болью лицо Костромы блестело бисеринками пота. Острый кадык ходил вверх-вниз по горлу.

– Устя Даниловна... Отхожу, никак? Пить, за ради Христа...

Устинья пощупала его лоб. Зажгла лучину, осмотрела ногу. Собрав все силы, спокойно сказала:

– Не отходишь, Илья Иваныч. Вишь – в пот тебя бросило... стало быть, жар падает. Хорошо это. Больно тебе?

– Больно. – коротко, не открывая глаз, подтвердил Кострома.

– И это хорошо. Стало быть, жисть в тебе стражается. И тут уж кто кого: али болеть тебя, али ты – болеть. Терпи, Илья Иваныч. – Устинья горько усмехнулась. – Сам же сказывал, что на русского вора управы у Бога нет... Терпи. Попить дам сейчас. Горько будет, но так нужно. Со снадобьем вода.

Она ушла, вернулась через минуту с деревянным ковшом, дала Костроме напиться. Тот жадно тянул тёмную, холодную, пахнущую сеном жидкость, явно не чувствуя вкуса. Напившись, повалился на постель. Уверенно сказал:

– Помру, Устя Даниловна.

– Не помрёшь, Илья Иваныч. – так же уверенно сказала Устинья («Господи, прости прегрешения мои, прости, коли лгу...»). – Терпи, уж к утру легче станет. Михайла Николаевич хорошо нарыв твой вскрыл, всё гнильё выпустил... молись, даст Бог, выздоровеешь. Побежишь ещё через тайгу-то!

– Посидела бы... а? – хрипло попросил он.

Устинья вздохнула. Поставила мокрый ковш на подоконник, присела на край нар. Бережно погладила встрёпанную голову Костромы, вытерла своим фартуком пот с его лба. Глядя в голубое окно, медленно, вполголоса заговорила:

– А вот в дальнем царстве, в заморском государстве, при царе Солмоне, при царице Агарице жила-была девка-боярышня – да такова, что лучше нету! Жила она в лесу, на охотничьей заимке: тятка её от женихов прятал, украдут – боялся... И вот, повадился на ту заимку старый леший ходить! Что ни вечер – то тащится, а чтоб девка не пугалась, через трухлявый пень кувырк! – и молодцем

обернётся! Вовсе человек, только кафтан не на ту сторону запахнут, да сапоги не на те ноги вздеты! Ну да девке невдомёк, радуется... И вот снова, как тятки опять в дому не случилось...

Один за другим слышались несколько глухих шлепков: «ходячие» больные попрыгали с нар. Неслышные тени перемещались по палате, стягиваясь к постели Костромы. Вскоре вокруг Устиньи образовалось плотное кольцо каторжан. Лунный свет блестел в их широко раскрытых глазах. Время от времени кто-то восхищённо кричал, на него тут же шипели. Кострома лежал закусив губы, тяжело дыша. Голос Устиньи звучал тихо, спокойно. Ладонь её по-прежнему поглаживала голову вора. С порога, незаметный в темноте, на Устинью безотрывно смотрел Иверзнев.

Ночью Ефиму не спалось. Он сидел в темноте за столом, следил взглядом за лунным лучом на бревенчатой стене. Слушал, как скрипит за печью сверчок, как посапывают во сне дети. Петька на лавке спал плохо, стонал: «Мамка, студёно... Ноги гудут, мамка...» – и Ефиму несколько раз приходилось вставать и переворачивать мальчишку с боку на бок, чтобы тот угомонился. Раз два всхлипнула и Танюшка, и Ефим торопливо брал её из люльки на руки.

Жена забежала около полуночи, всего на минутку, чтобы покормить грудью дочку. Ефим в это время лежал ничком на лавке и притворялся, что засыпает. Из-под полуприкрытых век смотрел на осунувшееся от недосыпа лицо Устиньи, слушал её тихий голос, напевавший колыбельную: «У кота-то, у кота колыбелька золота...». Против воли думал о том, что, может статься, никогда больше не увидит ни Устьки, ни дочери.

Несмотря на усталость, Устинья всё же что – то почуяла: уложив Танюшку в люльку, вполголоса спросила:

– Стряслось что, Ефим?

– С чего?.. – зевнул он, умирая от страха: не поверит, возьмётся расспрашивать, а когда он ей соврать мог?.. Но жена, видно, и в самом деле умоталась до полусмерти, потому что больше ничего не спросила. И, уже уходя, шёпотом велела с порога:

– Ежели Танька раскричится, ты мне в стену бухни, позови! Некогда мне нынче, у Костромы кризис будет...

Он не отозвался, делая вид, что заснул. Устинья ушла, и впервые за всю свою семейную жизнь Ефим порадовался этому. Прежде у него руки чесались поубивать и этих варнаков, которых и перевяжи, и напои, и нос подотри, и сказку Расскажи, и доктора, завалившего чужую бабу работой выше головы, и саму Устьку, которая замуж-то вышла, а дитём да мужиком заняться всё недосуг – с больными убивается да в бумагах пишет... Но нынче всё это было как нельзя кстати. Тревога не отпускала, мучительно сосала сердце. Ефим то сидел, сгорбившись, за столом, то вставал и принимался ходить по пустой горнице, то подходил к люльке, смотрел в лунном свете на спокойное личико спящей малышки. Ночь тянулась медленно, и в голове Ефима день за днём, год за годом проплывала прошлая жизнь. Родное, полузабытое уже Болотеево, Москва, долгий путь по этапу в Сибирь, Иркутск, завод, пожар... И всегда рядом с ним были брат Антип и Устька. Устинья, молчаливая колдунья с неласковым взглядом серых глаз, которые, когда она радовалась или удивлялась чему-то, делались вдруг синими-синими, как весенний лёд. Как он любил эту игошу разноглазую, будь она неладна! Как с ума сходил по ней ещё на селе, как готов бы за ней куда угодно – на каторгу, в Сибирь, хоть к чертям на вилы – лишь бы с ней, лишь бы не расстаться никогда... А теперь вот один Бог знает, как повернётся. Может, и не увидятся больше. И не обнимет он эту чёртову ведьму, не стиснет в кулаке её косу, не прижмётся она к нему в ответ так, как одна только Устька и могла – до боли, до сладкой тоски...

«И ведь год всего до поселенья остался!» – с горечью думал Ефим, глядя в окно, на холодные весенние звёзды. – «Железа бы сняли... Поселились бы мы с Устькой при заводе, всё равно её из лазарета на вожжах не утащишь... Хозяйство бы начали... А теперь ведь – всё! Слава Богу, Устька не одна тут останется, коли мне в рудники назначат... Антип костями ляжет – а её не бросит и детей подымет... А коль я в земле загину – так и женится на ней наконец-то! Столько лет дожидается, собачий сын!» Мысль была несправедливая, злая, и в другое время Ефим прогнал бы её – как прогонял уже не раз. Но сейчас ожидание неминуемой беды комом стояло в горле, и отогнать тяжёлое раздумье Ефим не мог.

Он знал, что жену Лазарева благополучно доставили на квартиру инженера, что там ею занялась Меланья. Но как себя чувствует «сбрыкнутая» в реку барыня, выяснить не удалось. И к утру, когда лунные пятна погасли, а на подоконник

несмело лёг предутренний луч, Ефим уже был уверен: с минуты на минуту за ним придут и уведут в «секретку». Он сел на лавку, прислонился спиной к стене, закрыл глаза, подумал: «На минутку...» – и провалился в забытьё.

Он не проспал и получаса, когда в окно постучали. Ефим вздрогнул, вскочил. В глазах ещё стоял сон, но вчерашнее вспомнилось мгновенно: словно тяжкий валун разом грохнулся на плечи.

В горнице стоял серый рассветный свет. Дети спали. Петька скрючился от холода, и Ефим прикрыл его тулупом. Обернулся к окну. Там всё было белым и зыбким от утреннего тумана.

Стук повторился: чуть слышный.

– Ефимка! Выходь... На работу пора!

«Антипка...» Ефим глубоко вздохнул, прислонился к стене. С минуту стоял так с закрытыми глазами, силясь проглотить вставший в горле ком. Затем вытер испарину на лбу, дёрнул с гвоздя азам и шагнул за порог.

Под окном стояла телега, запряжённая старым гнедкой. Антип поправлял хомут. Лазарев стоял рядом, раскуривал папиросу. На воротнике его суконной куртки блестел серебристый налёт росы.

– Доброго утра, Василь Петрович. – подойдя, осторожно поздоровался Ефим.

– И тебе тоже. – не обернувшись, отозвался тот. – Ну – едем?

Солнце ещё не поднималось над лесом: небо лишь слегка светлело, в нём таяли звёзды. Лохматые ветви елей, казалось, были затянута тусклой серебряной плёнкой. Заводской колокол ещё не звонил. Острог и поселения спали, и лишь из нескольких труб поднимались тонкие дымки. Река и берег возле неё были сплошь затянута туманом, в котором кое-где виднелись спины отпущенных в ночное лошадей. Одна из них вдруг подала голос, негромко, словно нехотя заржав. Запряжённый в телегу гнедой сразу же ответил ей, вскинув голову и обдав идущего рядом Ефима брызгами росы.

– Не балуй, дурень! – обругал его Ефим. Глубоко вздохнув, подумал о том, что, кажется, всё-таки пронесло. Ведь, если бы Лазарев собрался жаловаться на него, Ефима Силина, начальству, то, верно, не пошёл бы с ним как ни в чём не бывало утром на работу... Но облегчения эта здравая мысль не принесла. Он покосился на шагающего рядом брата. Антип понял всё без слов и вполголоса окликнул:

– Василь Петрович! Как здоровье супруги-то вашей? Не захворала опосля вчерашнего?

Лазарев ответил не сразу, и братья успели несколько раз тревожно переглянуться, прежде чем из тумана донеслось негромкое:

– Всё благополучно.

На опушке леса братья привычно стянули с себя кандалы. Ефим при этом глаз не сводил с Лазарева, но тот спокойно ждал их, стоя рядом с лошадью, похлопывал прутиком по сапогу и молчал.

День задался ясным, солнечный. Вековой лес вокруг звенел голосами птиц. Роса быстро высохла, и небо ясно засинело между мохнатыми ветвями сосен. Всё, казалось, шло как обычно. Лазарев то работал наравне с братьями лопатой, то отходил вглубь леса и лазил там по кочкам, поднимая комки глины и разминая их в пальцах, то вполголоса производил какие-то расчёты, занося их в растрёпанную книжицу обгрызенным карандашом. Но при этом он ни разу не обернулся ни к Антипу, ни к Ефиму и не заговорил с ними. Казалось, заводской мастер глубоко и тяжело думал о чём-то. Силины переглядывались, хмурились. Антип качал головой и на молчаливые, отчаянные взгляды брата только пожимал плечами.

После полудня Ефим уже нарочно встал рядом с инженером и, выворачивая глину почти плечо к плечу с ним, не сводил с Лазарева угрюмого взгляда. Тот ничего не замечал. Он даже не почувствовал, как лопата его наткнулась на ушедший в землю валун. Лезвие ударилось о камень раз, другой, третий. На четвёртый от валуна откололся кусок – и почти сразу же взорвался Ефим:

– Да не молотите вы, барин, каменюку-то! Искра уж летит! Струмент казённый вконец загубите!

– Вот холера... Ты прав. – пробормотал Лазарев, отбрасывая в сторону лопату и впервые за весь день поднимая глаза на Ефима. – А... что это ты на меня таким волком глядишь?

– А то, что пишете лучше сразу бумагу начальству, чем эдак-то! – сквозь зубы сказал тот, с размаху вгоняя лопату в землю. – Грех вам, Василь Петрович, вот что я скажу! По-человечески так не делают! Мы хоть каторжные, а тоже люди!

– Ефимка, Ефимка, помолчи! – из ямы обеспокоенно выглянул Антип. – Привяжись, говорят тебе...

– А ты, анафема, мне рот не затыкай! – рявкнул Ефим так, что с сосны испуганно скакнула прочь золотистая белка. – Коль так всё повернулось, то мне и терять нечего! Василь Петрович, воля ваша, – отправляйте по начальству! Как по закону положено! Пущай на рудники отправляют! Аль на съезжей растягивают! Могли бы, промежду прочим, и сами в морду-то давеча дать! Уж не ответил бы я, не бойтесь! А то ишь чего вздумали – душу по нитке мотать, будто...

Договорить Ефим не смог: Лазарев подошёл к нему вплотную. Взяв парня за плечо, заглянул ему в лицо и серьёзно спросил:

– Ефим, ты что – белены объелся? Ты чего орёшь? Какие рудники?

Ефим с бешенством взглянул на него... и вдруг, страшно выругавшись, сел на кучу глины и уронил голову на колени. Лазарев уселся рядом.

– Ефим! Да в чём же, чёрт тебя побери, дело?

– Говорю – велите на Зерентуй, коли так...

– Да с какой же стати?! Тьфу, вот ведь напасть... – Лазарев в недоумении уставился на Силина-старшего. – Антип, растолкуй ради бога, – чего он натворил?

Тут уже растерялся и Антип:

– Да как же, Василь Петрович? Сами же на нас осерчали давеча... что супругу-то вашу в реку сронили... Не хотели, а глупость вот вышла, так ведь не со зла же!

Лазарев изумлённо посмотрел на него. Недоверчиво улыбнулся.

– Что за чепуха? Ефим, не валяй дурака!

– Простите меня, Василь Петрович. – хрипло попросил тот. – Я вчера и в мыслях не держал... Бабу-то вашу... Супругу, то есть... Не хотел, вот вам крест, – простите...

– Я знаю, что ты не хотел. – Лазарев пожал плечами. Помолчав, спросил, – Так ты что же... в самом деле думал, что я из-за такого пустяка могу отправить человека в рудники?! А я-то полагал, что мы уже неплохо знаем друг друга.

– Какие ж пустяки-то? – прошептал Ефим. – Когда баба ваша чудом не утопла?

– Ну... эта шутка с волчьим воем и впрямь была неудачной. Но ведь никто не мог подумать, что кончится вот так. – задумчиво сказал Лазарев. – К тому же, виноват был не столько ты, сколько сама Лидия Орестовна. Вольно же ей было отбирать у Никифора вожжи! Конечно, лошадь уже порядком нервничала и... Впрочем, всё же кончилось благополучно. Так что и ты не дури мне тут! Ишь, выдумал, – отправляй его на Зерентуй! А мне здесь прикажешь разорваться? Нам ещё возов шесть, как хочешь, нужно вывезти, а людей Брагин мне нипочём на эту затею не даст! Так что даже не надейся от меня избавиться! – он хлопнул Ефима по спине и легко вскочил на ноги.

Ефим тоже поднялся. Исподлобья посмотрел на Лазарева. Хмуро спросил:

– Коль не сердаете на меня-то... и супруга в здравии... пошто целый день опрокинутый ходите? Смотреть на вас страсть! Аль ещё что стряслось? Мы с Антипкой пособить не можем ли?

Лазарев прямо взглянул в сумрачное лицо парня. Невесело усмехнулся, покачал головой:

– Нет, Ефим. Тут, боюсь, дела такого толка, что вы не поможете. Впрочем, всё равно спасибо. И, коль обид промеж нас больше нету, давай вернёмся к делу. Камень этот, между прочим, лучше выворотить, пока в самом деле не обломали лопаты.

Ефим сощурился, собрался было спросить что-то ещё – но Антип из-за спины Лазарева молча, сурово покачал головой. И первым взялся окапывать серый, тускло блестящий бок валуна.

– Надеюсь, вам лучше? – спросил Лазарев, входя в свою комнату. Солнце уже клонилось к закату, и маленькая, очень чистая горница со скоблеными полами и добела отмытыми бревенчатыми стенами была вся залита вечерним светом. Красные пятна лежали на сосновых струганых полках, забитых книгами и образцами горных пород, тянулись через заваленный бумагами, расчётами и инженерным инструментом стол, прыгали в ведре с чистой водой, стоящем у двери. Широкая кровать была разобрана, и лежащая в подушках женщина приподнялась на локте.

– Я прекрасно себя чувствую! Прошу входить и не стесняться!

Лазарев усмехнулся.

– Эдак вы меня приглашаете в мой собственный дом, Лидия Орестовна?

– Что это вы так по-мужицки – босиком, Базиль? – раздражённо спросила она.

– Оттого, что сапоги оставил в сенях, они глиной перемазаны. Здесь, сами видите, довольно чисто, так я стараюсь не нарушать...

– О да, я успела заметить. Право, и не знаю, чему приписать такой порядок. Прежде вы страстью к чистоте не отличались! – Лидия Орестовна села в постели, непринуждённо обхватив руками колени. Батистовая рубашка слегка приподнялась, обнажив до колена стройную ногу. Не замечая этого, женщина склонила к плечу голову с распущенными, вьющимися волосами, улыбнулась. Из-за улыбки в её чуть скуластом лице с узким подбородком и карими, чуть раскосыми глазами появилось что-то хитрое, лисье.

Лазарев, впрочем, на эту улыбку не ответил.

– Ну что ж, сударыня, коли вам лучше, – потрудитесь объяснить ваше появление здесь.

Он одной рукой поднял кряжистый самодельный стул, стоящий у стола, поставил его посреди комнаты и уселся на него верхом. Лидия Орестовна принуждённо засмеялась:

– Господи... всё такой же медведь! Впрочем, что же ещё из вас тайга должна была сделать? С какой же стати жена должна объяснять чем-то свой приезд к мужу?

– Прекратите кривляться! – перебил её Лазарев. – Покидая Петербург, я искренне надеялся никогда более с вами не видеться. Вы, как я знаю, лелеяли те же надежды. Деньги на ваше содержание я высылал исправно. Более того – вам осталось вполне приличное наследство от отца. Четыре года о вас, к счастью, не было ни слуху ни духу. И теперь я вас спрашиваю – что произошло?

– Деньги на содержание! – женщина наморщила нос. Улыбка с её лица пропала. – Неужто вам самому не смешно, Базиль? Да вы курицу не способны содержать, не то что жену!

– Помнится, вы весьма решительно доказывали мне, что развитая женщина способна содержать себя сама и не обязана для этого идти в рабыни к мужу. – серьёзно напомнил Лазарев. – Вы даже предпринимали очень смелые попытки...

– И была совершенно права! Теперь женщины не таковы, что были, и цепей они не терпят! Пора бы вам, мой друг, наконец с этим смириться и не пытаться меня уязвить таким недостойным способом!

– И в мыслях не держал... как мой Ефим говорит. – без тени улыбки заверил Лазарев.

– Кто это – Ефим? – поморщилась Лидия.

– Это мужик, который вчера вытащил вас из реки. Он у меня тут в подчинении. Кстати, неужто в Петербурге вы зарабатывали себе на жизнь извозом?

– Что вы имеете в виду? – озадаченно спросила женщина.

– Ну как же! По словам Никифора, вы вчера отобрали у него вожжи и вознамерились лично править лошадей! А поскольку для этого требуется какое-никакое умение...

– Лошадь напугал волчий вой, поэтому она и понесла! – запальчиво возразила Лидия. – А я превосходно справлялась с упряжью и...

– Безусловно, безусловно. – Лазарев по-прежнему был каменно серьёзен. – Это было превосходно – как всё, за что вы берётесь! Особенно безупречен был полёт в реку вверх тормашками. К счастью, Ефим подоспел вовремя и даже в ледяной воде не оплошал. Лидия Орестовна, неужто и этот случай вас ничему не научит?

Женщина лишь дёрнула плечом и надменно посоветовала:

– Не пытайтесь меня задеть вашим шутовством! Кстати, полагаю, что и из реки я прекрасно выбралась бы сама! Вашему Ефиму не стоило и трудиться!

– Вы набитая дура. – со вздохом подытожил Лазарев. – И это, к прискорбию, уже необратимо.

– Да как вы смеете!.. – Лидия с размаху ударила кулаком по стене, сморщилась от боли. – Как вы смеете меня оскорблять! Я столько лет прекрасно обходилась без вас и ваших пошлых нравоучений! Я жила сама, своими силами и своим трудом! Я училась, работала, развивалась! Я никого ни о чём не просила и ни перед кем не унижалась! И ничуть не нуждалась в тех грошах, которые вы мне для чего-то слали! Я...

– Имение куда девали? – будничным тоном перебил Лазарев. – Пехтеревку, ваше приданое?

– Да какое вам дело до моего имущества?!

– Деревенька была доходная. С неё можно было жить да поживать. И сколько угодно играть в передовую женщину. Зачем вы её продали?

– Я не обязана перед вами отчитываться! Да что ж это за тиранство?! Потрудитесь заметить, Базиль, что перед вами не крепостная девка, а современная женщина, которая...

– Вам самой не смешно, сударыня? – устало перебил её Лазарев. – Трещите без умолку, как канарейка в клетке, и всё одни и те же глупости... За четыре года – ни одной новой фразы! Я задал вам вопрос – так ответьте же на него по-русски!

– Я вас ненавижу! – было провозглашено с кровати.

– Ну да, ну да... – Лазарев протяжно вздохнул. И вдруг, резко поднявшись со стула, сделал несколько широких шагов по комнате.

– Что ж, если вы не намерены изъясняться человеческим языком, то мне самому придётся вам напомнить, отчего вы здесь. – жёстко, зло, без намёка на недавнюю насмешливую серьёзность, сказал он. – Беда ваша, Лидия Орестовна, в том, что вы действительно глупы. И все ваши несчастья – из-за вас самой. Послушайте, неужто вам в самом деле настолько некуда было деваться, что вы ко мне в Иркутск кинулись? У вас же, кажется, сестра под Вильно! И двое братьев в Варшаве! Не разумнее ли было податься к родне под бок, чем к брошенному мужу к чёрту на кулички?

– Что вы знаете о моих планах? – презрительно фыркнула Лидия. – Неужто вы следили за мной отсюда?

– Честно говоря, у меня и без этого хватает дел. Но общих знакомых никуда не денешь, и мне многие сюда радостно писали о ваших... м-м... даже не знаю как назвать. И про коммуну вашу, и про образование народа, и про швейные мастерские... Кстати, как вы умудрялись шить на заказ, если даже юбки себе сами подрубить никогда не могли? И про Стрежинского мне тоже хорошо известно. Бог ты мой, да какая из вас польская патриотка? К чему вы в эти-то дела полезли?!

– Вы ничего не пони...

– Бросьте!!! – загремел Лазарев. Массивная спинка стула затрещала от удара его кулака, и женщина, пискнув, вжалась спиной в стену. – Мне отлично известно, почему вы сбежали из Петербурга! Я-то поначалу полагал, что дело в деньгах... А вы сунулись в серьёзное дело! В политический заговор! Какая же вы подленькая штучка, однако! Это ведь даже для вас было слишком! Я не знаком с Вацлавом Стрежинским, но мне многое рассказывали о нём! Человек предпочёл вашей юбке Родину и дело жизни, – и вы легко и просто предали его!

– Вы ничего, ничего, ничего не знаете!!! – захлёбываясь, кричала Лидия. Слёзы бежали по её лицу. – Я страшно, смертельно боялась этого человека! Да-да, Стрежинский – страшный человек, фанатик, весь во власти своей страсти... и меня он любил так, что...

– У фанатиков обычно бывает лишь одна *idee-fixe*. – сквозь зубы заметил Лазарев. – Если он такой отчаянный польский патриот, то вас любить более своей Польши он никак не мог. За что, очевидно, и поплатился. Вы ведь не терпите пренебрежения своей особой. И никогда в жизни не смотрели далее собственных забав и удовольствий.

– Базиль!!! Мне не до вашего ёрничанья! Поймите, наконец, болван, что после ареста Вацлава и прочих я до смерти перепугалась! Ведь многие остались на свободе! И меня почему-то обвиняли во всех этих арестах!

– «Почему-то»! – саркастически передразнил Лазарев.

– Вы мерзавец! Я осталась одна! Меня на допросы трижды вызывали!

– Ох... Представляю, какие спектакли были разыграны!

– Издевайтесь далее. – глотая слёзы, высокомерно разрешила Лидия. – Именно этого я и ждала, когда ехала сюда. Ничего нового вы мне не показали! По-прежнему тешите своё крошечное самолюбие за чужой счёт. По-прежнему рады мучить беззащитного...

– Это вы-то беззащитная? – негромко переспросил Лазарев, но в его глазах мелькнуло что-то такое, от чего Лидия умолкла на полуслове и загордилась дрожащей рукой. – Да бросьте, бросьте эти драматические жесты! Я вас пальцем не тронул никогда! Хотя, чёрт возьми, может быть, и следовало

придушить сразу... Скажите, вам не приходило в голову, что вы мне здесь совершенно без надобности?

Женщина молча смотрела на него. Она старалась сохранить на лице надменное выражение, а при последних словах мужа даже рассмеялась, но губы её прыгали от страха.

– Я понимаю, что кажусь вам смешным. – Лазарев, опираясь обеими руками о край стола, смотрел на жену в упор светлыми волчьими глазами. – Особенно смешно вам, вероятно, было, когда я делал вам предложение. Помните – май, белые ночи... дача вашего папаши... У меня хватало ума понимать, что вы меня не любите... но сам я тогда утратил всякое разумение и рад был схватиться за соломинку.

– Как же, помню! – фыркнула Лидия. – В жизни не забуду, как вы рыдали у меня в ногах и молили хотя бы о малейшей возможности быть возле меня! Помнится, и Лермонтова читали: «Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!»

– Это Пушкин, Лидия Орестовна. – ровным голосом поправил Лазарев. Он по-прежнему казался спокойным, но скулы его пылали. – Мне было двадцать пять лет. Это моё единственное оправдание.

– А теперь, стало быть, поумнели? – издевательски взмахнула пальцем жена. – Только и хватило ума, чтобы оскорблять меня, напоминать о каких-то глупых заговорах, о деньгах... О-о, вижу, как вам хочется убедить меня, что вы более во мне не нуждаетесь!

– Я без вас тут живу четвёртый год. Это ли не лучшее подтверждение?

– Пфу! Вам понадобилось бежать из Петербурга в Сибирь! И не от меня, а от самого себя! – выпалила Лидия, выпрямляясь на постели. – Да вы отлично знали, что останетесь вы в Петербурге – и я смогу делать с вами что хочу! Что стоит мне поманить пальцем – вот так! – и вы будете снова рыдать у моих ног! Вы бежали, как бездарный генерал с поля боя, зная, что в любой момент с вами могут сотворить всё, что угодно, и вы ещё будете благодарить! И даже сейчас...

В дверь вдруг постучали – сильно, торопливо. Лидия умолкла. Лазарев, всем телом развернувшись, зарычал:

– Кто там, чёрт возьми, в чём дело?!

– Простите, Василий Петрович. Откройте. Это Иверзнев.

Лазарев перевёл дыхание. Медленно, обеими руками пригладил волосы. Не глядя на жену, открыл дверь и вышел в сени.

– Простите, что не приглашаю вас, Михаил Николаевич. Супруга моя в постели и не одета. – отрывисто произнёс он. – Что случилось?

– Я подумал, что вам нужно знать. – сухо сказал Иверзнев, глядя мимо инженера в стену. – Меланья только что наглоталась сулемы. Устя пытается её откачать.

Мгновение Лазарев стоял не двигаясь. Затем ударил кулаком по бревенчатой стене так, что посыпались щепки, и, чуть не сбив с ног Иверзнева, вылетел из сеней.

Отраву Меланья взяла в лазарете. К счастью, это оказалась не сулема, как с перепугу показалось Устинье, а стоящая рядом с ней в такой же бутылке настойка бузины, – которой, впрочем, можно было отравиться не хуже. Устинья немедленно заставила Меланью проглотить чуть ли не целый совок толчёного берёзового угля и влила в неё четыре ковша колодезной воды. После этого Меланью несколько часов кряду жестоко выворачивало в подставленное ведро.

– Пей, говорю! Пей ещё! Ты у меня, милая, ещё столько же выпьешь, покуда всё нутро не прополощется! Ишь, вздумала, – без спросу у меня на полках шуровать! А коль бы это в самом деле сулема была? Ни уголёк, ни водичка не пособили бы! Дура несчастная, что выдумала! Да стоят ли они того, кобели проклятые?! Без тебя у меня будто забот мало... Кострома вон жив до сих пор, чудо из чудес... Ох, Маланька, дурёха ты этакая, да надо ж тебе было!.. Дело-то наше подневольное, каторжанское... ты ж не замуж за него собиралась, верно? Нешто ты барину ровня, чтобы о таком-то мечтать? Куда ж нам к господам-то присыхать? Чего доброго от этого когда выходило?

Меланья молчала. Тёмные глаза её мутно, безразлично блестели из-под полуопущенных век. Она лежала на боку, неловко скорчившись, на лавке в

«отнорочке» Устиньи. Платка на ней не было, и чёрная коса, растрепавшись, свешивалась лохматой верёвкой до самого пола. За окном давно стемнело, и голубое, перечёркнутое решёткой пятно лунного света лежало на полу. Вздохнув, Устинья встала, подняла стоящее возле лавки ведро и, собираясь вынести его, нерешительно посмотрела на неподвижную Меланью.

Дверь, скрипнув, приоткрылась.

– Устя... Ну, что? Уже можно к ней?

– Василь Петрович, ну просила ж я вас! – сердитым шёпотом отозвалась она. – Ну, к чему вы тут? Идите, идите с Богом спать! Вы мне её ещё, чего доброго, до припадка доведёте! Ступайте, говорят вам, и так уже...

– Устя, я никуда не пойду. – упрямо сказал Лазарев. – Я не сделаю отсюда ни шагу, пока не поговорю с Малашей. Сделай милость,пусти меня. Ей уже лучше, она может говорить?

– Может. – помолчав, ответила Устинья. – Только вот, ей-богу, не надобно вам сейчас к ней.

– Она... сама это сказала?

– Ничего она не говорила! – рявкнула Устинья. – Могли б и сами додуматься! Умный ведь человек-то, а...

– Устя, я круглый дурак. Пусти меня к ней.

– Да идите, неслух, нешто с вами сладить можно! – в сердцах поднялась фельдшерица. – Только смотрите не напортьте мне... Я покуда сбегаю ведро вынесу да в палату к Костроме загляну, а вы глядите тут! Ежели что – сразу меня кличьте аль Михайлу Николаича! Он там за стенкой не спит ещё.

– Не беспокойся. – Лазарев неловко, торопливо протиснулся мимо Устиньи в комнатушку.

Луна ушла из окна, и голубое пятно погасло. В полной темноте Лазарев сел на пол рядом с лавкой. За стеной снова брякнуло ведро, скрипнула дверь: Устинья вышла во двор.

- Малаша, это я. Ты не спишь? Ты слышишь меня?

Тишина. Лазарев, подавшись вперёд, напряжённо всматривался в темноту. Но женщина лежала спиной к нему, не поворачивалась.

- Малаша, прости меня.

Нет ответа. Из-за стены, из лазарета, донёсся хриплый, сдавленный стон, невнятная брань. Её перебил ласковый, успокаивающий голос Устиньи. Босые ноги дробно простучали через сени, послышался слабый плеск воды. Снова босоногая дробь – уже назад. Нетерпеливый бас Иверзнева. Хлопок двери. Тишина.

- Малаша, я не хотел лгать тебе. Спасением души клянусь, у меня в мыслях не было, что она... что моя... что эта женщина отыщет меня здесь. Мы не виделись с ней несколько лет. Я уверен был, что она и думать забыла обо мне! Я потому и не рассказывал тебе... просто не видел в этом никакого смысла! Если бы я мог только подумать... Малаша, поверь, дороже тебя у меня никого на свете нет, и если ты...

- Глупость говорите, Василий Петрович. – послышался сорванный, чуть слышный шёпот. – Как же это жена о законном муже позабыть может? И как жене мужа не искать, коли уехал не сказавшись? Грех вам этак поступать было. И с ней, и со мной.

- Малаша, клянусь, всё было совсем не так! – Лазарев, забывшись, заговорил громко, взволнованно, но сразу же, осёкшись, умолк. Помолчав, продолжил – уже шёпотом:

- Малаша, поверь, я не оставлял её... верней, не оставлял так, как ты думаешь. Лидия Орестовна сама была рада избавиться от меня! Она любила совсем другого человека, а я... Мне не стоило и вовсе... Впрочем, всё это уже ничего не значит. Она здесь совсем не потому, что ей нужен я. Малаша, милая, голубчик мой, как же ты могла подумать... Как ты могла сделать с собой такое?! Я чуть не

умер от страха, пока Устинья тут приводила тебя в чувство! Неужели ты никогда, ни одной минуты мне не верила? Малаша, я люблю тебя! Кроме тебя, у меня никого нет, и...

- Перестаньте, за ради Христа, Василь Петрович! - перебила его Меланья. - И про жену свою худого не говорите. Негоже это... Коли так уж она плоха, для чего ж вы на ней женились? На вожжах, поди, никто не тянул, сами захотели...

- Малаша! Это была страшная ошибка, и...

- Эко молвили - ошибка... Брак законный, Василь Петрович, а не ошибка. - сдавленно поправила его Меланья. Лунный свет, заглянув в другое окно, протянул длинный дымный луч через всю комнату, упал на лавку и предательски высветил бледное, залитое слезами лицо женщины. - Уж коль вам венчаная жена - ошибка, то я-то тогда что ж?.. Половичок в сенцах, ноги вытирать.

- Малаша, как же ты можешь?..

- Вот так и могу. Сама, дура, и виновата. Говорили ж мне... И понимать должна была всё. Про вас и про себя. Кто я? - баба каторжная. Вы меня не обижали, при себе держали на работке лёгкой - и на том вам спасибо. А более мне вам и сказать нечего. И ступайте с Богом, уж полночь. Одна только просьба у меня к вам - кухарку себе новую возьмите. Мне легче воду с бабами в упряжке тягать, чем с вашей супругой в одном доме быть. А с вами - тем более.

- Малаша, ты... - начал было Лазарев - и умолк, беспомощно уткнувшись лбом в стиснутые кулаки. Молчала и Меланья. Наконец, Лазарев поднял голову.

- Малаша! Пожалуйста, послушай меня...

- Да уйдите ж вы! - отворачиваясь к стене, тяжело, с болью простонала она. - Не могу, не могу, не мучьте... Век бы мне вас не видеть!

Лазарев встал. Молча, несколькими широкими, злыми шагами пересёк комнату, со страшным грохотом свалил со стены таз и, хлопнув дверью на весь лазарет, вышел. Вместо него прибежала перепуганная Устинья.

– Маланька! Вы что тут?!. Не прибил он тебя, спаси Христос?!

Меланья не ответила. Плечи её содрогались. Вздохнув, Устинья села рядом и молча обняла подругу.

– Кто там? Да входите же! – доктор Иверзнев поднял голову от книги и недоумённо посмотрел на дверь. – Открыто, как всегда!

В комнату, слабо освещённую настольной лампой, вошёл Лазарев. С минуту хозяин и гость смотрели друг на друга. Затем Михаил заложил страницу в книге еловой веткой, встал, сделал несколько шагов по комнате. Негромко спросил:

– Вы были у Меланьи? Как она?

– Устинья говорит, что лучше... и опасности больше нет. – Лазарев по-прежнему стоял в дверях. – Надеюсь, до церковного покаяния не дойдёт?

– Наверяд ли. Наш Афанасий Егорьич не любитель подобных спектаклей. Да ему теперь и не до того. Последняя ревизия...

– Он ведь сам говорил, что ничего не нашли! И что даже, напротив...

– Ну да. – усмехнулся Иверзнев. – Да вы проходите, Василий Петрович, что вы там застряли в дверях? Ужинать будете? Есть хлеб, холодная оленина, буряты привезли. Не бог весть что, но...

– Благодарю, я совсем не голоден. – Лазарев тяжело опустился на стул, сгорбился. – Я, собственно, пришёл просить... Михаил Николаевич, голубчик, нельзя ли мне переночевать нынче у вас?

– Разумеется. – пожал плечами Иверзнев. – Диван к вашим услугам. Он, правда, неудобен и скрипуч, но моя кровать, по чести говоря, ещё хуже.

– Да чепуха это всё! Спасибо... Я мог бы и на полу превосходно выспаться. Простите, что так моветонски к вам ввалился среди ночи. Но более, право, пойти было некуда. Завтра же поищу себе другую квартиру. – Лазарев, сидя верхом на

стуле, ожесточённо тёр пальцами глаза. Иверзнев, остановившись посреди комнаты, внимательно смотрел на него. Затем сказал:

– Новая квартира – это же лишние хлопоты. Да и от завода может оказаться неблизко, а вы нужны там днём и ночью. Если угодно, можете остаться у меня. Места много, семьи нет, и сам я здесь очень редко оказываюсь. Обычно спим по очереди с Устиньей прямо в лазарете.

– Да... имел честь наблюдать. Спасибо. Видимо, воспользуюсь вашей любезностью. – глухо сказал, не поднимая головы, Лазарев. – Отчего ж вы сейчас не спите? Ночь-полночь, надо пользоваться случаем...

– Вот я и пользуюсь. – улыбнулся Михаил, возвращаясь за стол и любовно складывая стопкой наваленные на столешницу книги. – Верите ли – целый месяц не мог добраться! Сестра прислала из Москвы. Ждал этих книг, как манны небесной, и только сегодня смог, наконец, распаковать.

– В самом деле рассчитываете сдать университетский экзамен?

– Стоит, вероятно. – без особого воодушевления отозвался Иверзнев, водворяя на полку толстенную «Фармакологию». – Хотя, пожалуй, не стану. Я бы предпочёл набраться живого опыта операций. Курс акушерства пройти не мешало бы... а то ведь ни я, ни Устинья ничего не смыслим! В деревне её бабка и близко не подпускала к родам, а я только читал теорию! Куда же это годится? А в том, чтобы вызубрить лекции да сдать экзамены, пользы большой не вижу. Ну, диплом... Ну, на стенку повесить под стёклышко... А прок-то какой?

– Ну, как же? Вы же не навечно здесь? Когда-нибудь будут и пациенты, и большая практика...

– Это вряд ли. – серьёзно сказал Иверзнев. – Я, Василий Петрович, склоняюсь к тому, чтобы здесь остаться.

– Здесь? На заводе? – усмехнулся Лазарев. – Шутите, право?.. Вам ведь полтора года, кажется, осталось? Пустяк...

– Ничуть. – отозвался Иверзнев, с тихим чертыханьем лоя соскользнувший под стол том «Ботаники». – В столицах и так эскулапов достаточно, а здесь на сотню вёрст в округе – только я да Устинья. Вас не смущает сие несоответствие?

– Всерьёз намерены похоронить себя на каторге? Будете народу служить? – усмехнулся Лазарев, чуть заметно выделив голосом слово «народ». Михаил взглянул на него с лёгким изумлением.

– Хоронить не собираюсь, это раз. И в услужении моём местный народ вряд ли нуждается, это два. Вот во врачах хороших нужда есть, почему бы её не удовлетворить? Да и Устинья замечательно начала разбираться... Впрочем, что же я болтаю? Сейчас поужинаем, хоть и поздно... и не возражайте! Я знаю, что у вас росинки маковой нынче во рту не было. И у меня, между прочим, тоже. В самом деле, прибежал домой, думал – пару минут повожусь с книгами, а вышло... всё как всегда вышло! Садитесь ближе к столу, прошу вас.

Через несколько минут оба дружно, молча жевали холодное мясо с хлебом. Иверзнев сбегал в сени и принёс пыхтящий кипятком самовар. Быстро, умело заварил чаю с какими-то сушёными травами, и в комнате запахло летним лугом и пыльцой.

– Аромат-то какой! – усмехнулся Лазарев. – Однако, как это вы всё умеете? – и самовар, и чай...

– Устинья научила. – улыбнулся и Михаил. – Мы с ней уж какой год друг у друга учимся. Вы вот тут смеяться изволили над служением народу...

– Вздор, я совсем не это... – запротестовал было Лазарев, но Иверзнев, не слушая, продолжал:

– ...а сами посмотрите, что получается, если дать этим людям хотя бы зачатки образования! Хоть каплю профессиональных знаний! Посмотрите на мою Устинью Даниловну! Ей, между прочим, всего двадцать четвёртый год, – а она три года назад поставила на ноги сына нашего Брагина! От которого вся иркутская профессура дружно отказалась! Жив-здоров, учится сейчас в губернском... Со всей округи к ней приезжают! А если бы её в столицу, в университет?!

– Ну, уж это вы хватили, Михаил Николаевич! До дамского университетского образования у нас ещё, слава богу, не дошло...

– Что весьма жаль. – не поддерживая шутливую тона, сухо отозвался Иверзнев. – Сейчас хоть женские гимназии начали открываться... А вот моя сестра промучилась в Екатерининском институте шесть лет, – спрашивается, зачем? Всё равно всему училась сама – по нашим с братьями учебникам и по отцовским книгам! Да-да, и историю, и географию, и философию читала, и кучу всего, чего в иных домах и в руки девицам не дают.

– М-м... ну, а к чему? – пожал плечами Лазарев. – В России дама может сколь угодно образовывать себя по книгам и даже Бунзена штудировать – а толку-то? Служить она после этого всё равно не пойдёт, ибо некуда, по военной части – тем более, в политику... бр-р, представить страшно! По инженерной – смешно, простите, и мечтать... Всё едино, одна дорога – в гувернантки или в классные дамы. Ну и последнее спасение – замуж! Нет, разумеется, можно ещё остричь волосы, нацепить зачем-то синие очки, сделавшись похожей на учёного филина, и кричать направо и налево о том, что желаешь приносить пользу обществу! Всё это, Михаил Николаевич, похоже на то, как стриг чёрт кошку – визгу много, а толку мало. Дамы освоили новый способ привлекать к себе внимание, только и всего! И не переубеждайте, слушать не буду! – махнул он рукой, хотя Иверзнев и не думал возражать и лишь смотрел на товарища со странной смесью любопытства и сочувствия. Лазарев, впрочем, этого взгляда не замечал и говорил всё горячее, размахивая руками и рискуя смахнуть себе на колени стакан с чаем.

– Лучше бы мужиков учили, куда больше пользы было бы! Вот своих Силиных я бы спокойно отправил на первый курс Инженерной школы! Ведь мастера же оба! В прошлом году посылал их вместо себя на Илгинский печи ладить – сделали же превосходно! Полтора сезона неполадок не было! А ведь тоже еле грамотны...

– Ну вот, вы и сами себе противоречите. – серьёзно возразил Иверзнев. – Моя Устинья ничем не хуже ваших Силиных. И пользы от неё не меньше. А её бабка в деревне, судя по её рассказам, – сущий профессор медицины! Хотя, не поверите, лечит воспаление лёгких – плесенью!

– Угу... и жжёной тряпкой, а сверху два раза плюнуть и один раз пописать...

Иверзнев только усмехнулся. Залпом допил остывший чай из стакана. Подошёл к окну, взгляделся в темноту. Негромко сказал:

- Вы ведь, кажется, нашли, наконец, эту невероятно прочную глину?

- Нашёл... Уже пять возов привезли. Осталось примерно столько же. Да наладить кирпичи, да ещё убедить новое начальство сложить пробную печь...

- Думаете убедить? Меня, честно сказать, очень беспокоит это новое начальство.

- Будем надеяться. Возможно, окажется только лучше?

- Лучше, чем при Брагине? - пожал плечами Михаил. - Невозможно.

- Ревизии-то так ничего и не насчитали?

- Смешно сказать - насчитали переизбыток прибыли! Не поверили - прислали ещё одного проверяющего! И тот тоже всё подтвердил! После этого высшее начальство в губернии перепугалось вконец и от греха подальше велело нашему Брагину отправляться на Илгинский! Где справедливость, где ум, где элементарная логика, наконец?..

- Значит, теперь на Илгинском людям настанет облегчение. - меланхолично подытожил Лазарев. - А у нас... Что ж, хорошенького понемножку. Постараюсь объяснить новому начальнику завода, что от моих печей окажется прямая выгода.

- Никакая выгода никому здесь не нужна. - тяжело сказал Иверзнев. - А нужно только, чтобы люди мучились в полном соответствии с законом.

На это Лазарев не нашёлся что сказать. В маленькой комнате повисло тягостное молчание. За окном уже светало. На фоне посеревшего неба начали смутно вырисовываться колья ворот, макушки елей. Со стороны реки донёсся слабый плеск воды: кто-то спускал на воду лодку.

- Что ж... Будем всё же на лучшее рассчитывать. - Лазарев встал со стула, потянулся. - Кто это говорил: «Делай что должен, и будь что будет»? Марк

Аврелий? Или Сенека?

– Кто их знает. – без улыбки сказал Михаил. – Я со своей стороны готов дружно уживаться хоть с самим дьяволом, лишь бы мне было позволено продолжать делать дело в лазарете. Это не требует никаких расходов, жалованье у меня фельдшерское, – да и от того я готов отказаться, если понадобится, так что начальству придраться будет не к чему. А вот с вашими печами... Брагин наш – и тот боялся на это деньги давать! А теперь, наверное, и вовсе... Впрочем, утро вечера мудренее. Давайте спать, Василий Петрович. Через два часа... верней, уже через один... я должен быть в лазарете. Уж простите, удобств у меня мало... Держите вот подушку. С одеялом, правда, беда...

– Чепуха, я укурюсь шинелью. – Лазарев метко запустил подушку через всю комнату в изголовье дивана. Подойдя, лёг на спину, вытянулся. Минуту спустя вполголоса сказал:

– Я вам, Михаил Николаевич, очень благодарен. И за пристанище... и за то, что вопросов не задавали. И простите великодушно за то, что так и не дал вам ваши книги разобрать. Может быть, хоть завтра удастся?

Иверзнев не ответил: он спал.

На другой день Лазарев попросил Силина-младшего:

– Ефим, я теперь у доктора Иверзнева обретаюсь, и посему у меня к тебе просьба будет. Не мог бы ты по утрам заходить к моей супруге: принести дров, воды и прочего, что нужно будет. Со дня на день, я уверена, Лидия Орестовна найдёт себе прислугу, но пока... Прости, я знаю, что ты и так занят, но более обратиться мне не к кому.

– Да могу и я, Василь Петрович! – вмешался Антип.

– Да о чём разговор-то, выполню! – поспешно перебил брата Ефим, который всё ещё чувствовал себя виноватым перед инженером. – Вот прямо сейчас и зайду, с вашего дозволения! Долго ль дров-то нарубить? А потом – сразу ж к вам на ямы! Только на воротах упредите там, чтобы выпустили...

Лазарев мельком кивнул и пошёл вперёд. Силины только сочувственно переглянулись. Затем Антип затопал вслед за инженером, а Ефим, подхватив с телеги топор, повернул назад.

Войдя на крыльцо дома Лазарева, он постучал:

– Барыня! Лидья Арестовна! Извольте отпереть, я от барина присланный!

В ответ – безмолвие. Озадаченный Ефим постучал громче – но результата не было. Когда же дверь не открылась и после нескольких ударов ногой, Силин начал всерьёз раздумывать над тем, чтобы разбить окно и влезть внутрь: мало ли что могло случиться с барыней... К счастью, до этого не дошло: в сенях послышались лёгкие шаги. Ефим спрыгнул с крыльца, и вовремя: дверь открылась.

– Езус-Мария, зачем же так стучать и греметь... – послышался сонный, недовольный голос. Дверь открылась. Заспанная женщина, кутаясь в шаль и зевая, выглянула на крыльцо.

– Ах! Матка Боска! – рот её открылся, пальцы судорожно вцепились в дверной косяк. Отпрянув назад в сени, Лидия Орестовна с ужасом взглянула на стоящего у крыльца мужика с косой саженью в плечах. Лицо огромного каторжанина пересекали два длинных, рваных шрама. В руке был топор, на ногах – кандалы. Зелёные, стальные глаза смотрели недобро. Этот знаменитый силинский взгляд не раз доводил до оторопи самых отчаянных разбойников каторги.

Ефим озадаченно нахмурился. Затем, сообразив, в чём дело, усмехнулся и, отступив от крыльца на несколько шагов, низко поклонился:

– Прощенья просим. Меня Ефимом зовут, супруг ваш прислал для услуженья. Велено дров наколоть, воды принести и прочее, что велите.

– Боже мой, ну ты меня и напугал... – медленно выговорила Лазарева, прислоняясь к дверному косяку. – Ступай прочь, ничего не надобно.

– Да вы не пугайтесь, барыня! – рассмеялся, не выдержав, Ефим. – Прикажете, что сделать, сроблю и уберусь.

Так и не дождавшись ответа, он пожал плечами, обвёл взглядом двор и не спеша направился к куче небрежно сваленных сосновых обрубков у забора. Кандалы его звонко брякали при каждом шаге. Лазарева некоторое время следила за ним, стоя в дверях. Затем передёрнула плечами и ушла внутрь.

Переколов дрова и сложив их в поленницу, Ефим наносил воды в бочку у ворот, затем прихватил в сенях два «чистых» ведра и наполнил их тоже. Порывшись в сарае, нашёл несколько плашек, выровнял их топором, принялся поправлять покосившийся забор. Увлёкшись работой, он не замечал, что Лидия Орестовна, спрятавшись за занавеской, наблюдает за ним в окно. Испуг её понемногу прошёл, ей даже стало немного смешно собственного заячьего прыжка в сени.

«Ну, чего же, в самом деле, бояться? Базиль, конечно, же болван и тряпка, – но не послал бы он ко мне убийцу рубить дрова... Однако, ну и сложение у этого... Кудеяра! Какие плечи... Взгляд, спору нет, невыносимый, просто мороз по коже... и физиономия вся в шрамах, чудовищно... но плечи-то! Сущий римский гладиатор! Вернее – скованный Прометей...» Лидия тихонько рассмеялась, зажмурилась от собственных мыслей. Снова осторожно выглянула во двор. В горле щекотно, как пузырьки шампанского, закололо озорство. Закусив пухлую нижнюю губу, она задумалась. И вдруг снова рассмеялась – безудержно, до слёз, фыркнув, как девочка-ученица. И опрометью кинулась в комнаты.

Покончив с починкой забора, Ефим вогнал топор в чурбачок у крыльца, поднял охапку дров и, пнув ногой незапертую дверь, вошёл в сени.

– Барыня! Дрова занести позволите?

– Ах, да заходи, конечно! – отозвался женский голос в глубине дома. Ефим привычно вошёл в столовую, вывалил дрова возле печи, выпрямился... и чуть не выругался от неожиданности: в дверях, глядя на него и улыбаясь, стояла хозяйка.

Некоторое время Ефим озадаченно шурился. Затем мотнул головой. Недоверчиво усмехнулся. Лазарева стояла перед ним в лёгком кисейном пеньюаре, небрежно перехваченном в поясе розовой лентой. Неубранные волосы вьющимися каштановыми прядями сбегали по плечам и груди. Полуопущенные ресницы дрожали, из-под них сонно и зазывно поблёскивали карие глаза.

«Красивая баба-то у Петровича!» – ошалело подумал Ефим, чувствуя, как разом пересохло во рту. По спине галопом помчались горячие мурашки. – «Небось, и получше Малашки будет... Хороша... а гулящая! Вон чего, видать, они столько лет не жили-то...»

Спохватившись, он отвернулся. Старательно глядя в угол за печью, спросил:

– Дозвольте, барыня, идти?

– Подожди. – Лидия, не сводя с него взгляда, перебросила на одно плечо копну волос. – Как тебя, говоришь, зовут?

– Ефимом, барыня.

– Ах, так это ты вытащил меня из реки? Я должна поблагодарить тебя за спасение! – она подошла вплотную. – Вот досада, мне даже нечего дать тебе...

– Нечего благодарить, дело христианское. – настороженно проворчал Ефим, отступая к двери. – Вы бы, барыня, оделись, студёно с утра ещё...

Лидия тихо рассмеялась. Она знала цену этому своему смеху – чуть слышному, мягкому, журчащему, как вода по камешкам на дне ручья.

– Подойди сюда. – сквозь смех проворковала она.

– Дозвольте идти, Василь Петрович ждёт на работу...

– Не позволяю! Закрой двери и поди ко мне сюда! Что же ты стоишь, коли я тебе велю?

Ефим не трогался с места.

– Отчего ты не слушаешься? – недоумевая, повысила она голос. – Что за своеволие! Подойди ближе, тебе говорят!

– Не пожалели бы опосля-то, барыня! – Ефим неприятно усмехнулся, не поднимая глаз.

– Это не твоё дело! – вышла из себя Лазарева. – И не дерзи, не то я рассержусь и прикажу тебя высечь! Что ты себе позволяешь, мужик?!

– И в мыслях не было – позволять-то... Наше ль это дело... Дозвольте идти!

– Никуда не пойдёшь! – решительно заявила Лидия, сама подходя к двери и опуская щеколду. Затем она встала прямо перед Ефимом и, приподнявшись на цыпочки, погладила его по плечу. Парень дёрнулся в сторону.

– Да что ты прыгаешь? – снова рассмеялась она. – Неужели я такая страшная? Или смогу тебя укусить? Какой же ты громадный, страшно смотреть... Просто Геркулес! – тонкие пальцы с острыми розовыми ноготками непринуждённо пробежались по рубаше Ефима на груди. – Право, никогда не видала таких огромных мужчин!

– У вас и свой муж не маленький. – сквозь зубы напомнил Ефим. Лидия пожала плечами:

– Муж?.. Смешной ты, право... Ну при чём тут муж? – наклонившись, она осторожно, кончиком пальца коснулась тяжёлого кандального браслета на сапоге Ефима. – Фу, какая ужасная вещь... Вам никогда не позволяют это снимать?

– Знамо дело, не положено.

– Да? И даже спите в них? И даже... с женщинами?.. Они не обижаются? – карие, влажно блестящие глаза приблизились вплотную. От неё пахло чем-то сладким, непривычным, – не то цветами, не то вином, – и Ефим с испугом почувствовал, как снова начинает стучать кровь в висках. «Ведь хороша баба-то до чего... Сроду таких в руках не держал! Мягкая вся, гладенькая... кожа как атласная! И ведь сама ластится... Чёрт, не дай бог! А хороша, сука...»

– Бабы наши привычные. – Ефим закрыл глаза, сглотнул. – Здесь, барыня, каторга, а не тиятр... дозвольте идти!

Лазарева словно не услышала. Тонкие пальцы перебирали рубаху на груди Ефима.

– Скажи, Ефим, а как ты вообще сюда попал? Разбойничал на дороге? Скажи, не бойся! Мне почему-то кажется, что...

Но Ефим уже пришёл в себя. И, не поднимая взгляда, отчётливо цедя каждое слово, выговорил:

– Двоих разом порешил. Первой – бабу, а вторым – любовника ейного. Топором по башке. Не поверите, все стены кровью залило!

Лазарева ахнула, отшатнулась. Ефим круто развернулся, откинул щеколду на двери и, лязгнув цепью на ногах, вышел вон.

* * *

– Как хотите, – не понимаю вас, Никита Владимирович. Всеми силами тшусь понять – и никак-с... Не обессудьте! – Николай Агарин, смоленский помещик двадцати пяти лет, резко поднялся из кресла и принялся расхаживать по комнате.

– Право, и в голове не укладывается! Безусловно, каждый человек имеет свои странности и привычки... но такое! Вы ведь дворянин, смею напомнить! Закатовы – древний, столбовой род! Ваши прадеды царям служили! Российской империи!

– Чем же я, на ваш взгляд, не угодил Российской империи? – серьёзно спросил его собеседник.

– Извольте шутить?! А я вот не вижу ничего смешного! Ещё год назад, когда, как снег на голову, свалился этот никому не нужный Манифест...

– ...подписанный государем. – невозмутимо вставил Закатов, продолжая внимательно смотреть на своего гостя. В его светлых, цвета ячменного пива глазах не было и тени иронии – лишь вежливый интерес. Никите Закатову было тридцать два года, но тянувшийся через лицо шрам, полученный во время

последней кампании, и нити седины в волосах делали его на десяток лет старше. Год назад, весной 1861 года, он принял на себя должность мирового посредника Бельского уезда.

Агарин сделал ещё несколько сердитых шагов.

– Да хоть самим Господом Богом, чёрт побери! Неужто радоваться прикажете?! Разумеется, я – человек военный, присягу давал и престолу российскому предан до конца! Но мысли мои не подвластны никому, и... Да, на мой взгляд, этот Манифест был ошибкой! Роковой ошибкой! Сами видите, что из этого вышло! Неужто вы со мной не согласитесь?

– Охотно соглашусь. – Закатов, не вставая с места, отёрнул занавеску, и в кабинет хлынул солнечный день. – Задумано дельно, но исполнено бестолково. В результате плохо оказалось и нам... а мужикам – и того хуже.

– Право, не вижу тут ничего дельного. – отрывисто сказал Агарин. – Безусловно, не мне судить государя, но...

– Я тоже не собираюсь никого судить. И осмелюсь предположить, что у государя и выбора-то уже не было. Жаль, впрочем, что с землёй такая бестолковщина вышла.

– Так как же... по-вашему... следовало поступить? – медленно, запинаясь от возмущения, выговорил Агарин. – Мало этим мерзавцам воли – так подай им и землю? Всю?! Сколько душа холопья пожелает? А нам самим под окна к ним Христа ради являться? Я уже не говорю про дворянскую честь, про достоинство, о которых все, кажется, позабыли... Господь с вами, Никита Владимирович, вы, верно шутите надо мной! Я ведь вас умным человеком всегда считал!

– Благодарю за честь. – без улыбки отозвался Закатов. – Впрочем, я со всем своим умом, который вы тут превозносите, положительно не знаю, что можно поделывать. Уже второй год как я в мировых – а разобраться не в силах... Воля без земли для мужиков никакого смысла не имеет, и посему следует ожидать новых бунтов. Пока же они ещё тешатся разговорами о том...

– С-скоты... – брезгливо перебил Агарин, ударив кулаком по столу так, что стопка растрёпанных книг накренилась и поползла на пол. Закатов едва сумел её

подхватить.

– Скоты, мерзавцы... Отродье неблагодарное! Матушка покойная в таких случаях говаривала: «Им мёд, так ещё и ложку подай!» И отец тоже прав был: бунты на корню надо было пресекать! Давить их, как тараканов, а не миндальничать! Не понимают они доброго обхождения, не понимают и не ценят! И вы как никто должны со мной в этом согласиться!

– Вот как? Отчего же вы так уверены? – ровным голосом осведомился Закатов. Неровный шрам на его щеке слегка порозовел. Агарин, прочем, не заметил этого.

– Что?.. Я вам напоминать должен? Никита Владимирович, да вы в рассудке ли?! Да ведь мы с вами в одну неделю... да что там в неделю – в три дня... Я – осиротел, вы – овдовели! Ей-богу, бесчеловечно, наверное, с моей стороны напоминать вам... но ведь вы сами вынудили! Неужто для вас покойная супруга ваша ничего не значила?

– Николай Мефодьевич, вы напрасно так... – тяжело начал Закатов, поворачиваясь от окна. Но Агарин уже не слышал его.

– Что ж, Бог вам судья, в таком случае! А я до сих пор по ночам в поту холодном просыпаюсь! Да-с, и признаться в том не стыжусь! Помню, как письмо получил... как от полка домой ехал... всё думал – быть не может, ошибка какая-то, исправник, каналья, пьяным напился... – голос молодого человека дрогнул, он резко отвернулся к окну. – Чтоб наши мужики бунт подняли? Чтоб именье сожгли?! Чтоб отца с матушкой... и сестёр... Ведь Катрин и семнадцати не было! Суший младенец, только из пансиона взяли...А приехал я на пепелище! К четырём могилам на погосте приехал! Катрин ведь после того, что с ней эти выродки учинили, жить не осталась! В тот же день – в петлю... А вы... вы... извольте шутить?! – голос Агарина прервался.

Закатов встал, неловко отодвинув кресло. Сильно припадая на одну ногу, подошёл к своему гостю. Встав рядом, взволнованно сказал:

– Николай Мефодьевич, ради бога, простите меня. У меня и в мыслях не было шутить. Я глубоко сочувствую вам и...

– ...а через три дня мне говорят – графиню Закатову в лесу топором зарубили! – не слушая его, сдавленно продолжал Агарин. – А я ведь её ещё ребёнком знал, Настасью-то Дмитриевну...почти ровесниками были! Я её, помнится, по дороге на своём сером катал, а она всё быстрее просила... И ведь чудо, что дитя невинное тогда пощадили!

– Они не собирались никого щадить. – глухо возразил Закатов. – Если бы моя Дунька не выдала Маняшу за свою дочь...

– Ну видите же! Сами видите! Люди ли это, христиане ли?! Дикари с Алеутских островов так не поступили бы с другими дикарями! И вы... вы!.. Вы, кто наряду со мной пострадал... потерял самое дорогое... Ведь эта ваша Василиса, которую Настасья Дмитриевна как родную любила, цацкалась с ней... Эта Василиса своего любовника Стрижа и навела!

– Я всё помню, Николай Мефодьевич.

В комнате надолго воцарилась тишина. Со двора доносились мерные удары топора. Жизнерадостно гомонили в лужах воробьи. На заборе, хлопая крыльями, заорал петух – и, захлебнувшись, рухнул наземь, поверженный запущенным из сеней валенком. «Да чтоб тебя, труба ерихонская! Дитё побудишь! Вот ей-богу, на лапшу пуцу!» – раздался придушенный Дунькин крик. Закатов хмуро усмехнулся.

Агарин, наконец, отошёл от окна и снова принялся ожесточённо мерить шагами комнату.

– Помните, Никита Владимирович... Ведь нам обоим в уезде предлагали поступить в мировые посредники! Я тогда отказался... Отказался по слабости своей, понимая, что не только справедливым быть – видеть этих мерзавцев с их нытьём и просьбами у себя в имении не смогу! А вы... вы согласились! Помнится, я тогда восхищался вашей волей, умением скрепить сердце, задушить в себе горе ради общественных интересов... Ждал, что вы всей душой будете на стороне себе подобных! А вместо этого?! Что вами движет, Никита Владимирович? Какие идеалы, какие убеждения? Даже если оставить в стороне то, что вы – дворянин... Вы ведь человек! С душой и живым сердцем! Вы супругу свою любили и почитали! Неужто не боитесь, что Настасья Дмитриевна сейчас в гробу переворачивается?! Вы ведь с её убийцами, с душегубами

либеральничаете! Сами признаёте, что они и младенца не пожалели б, кабы не доблесть Дунькина! При этом один вы во всём уезде мужикам земли нарезали... да ещё какой земли! Чистый пух, хоть три раза в год с неё снимай! И для других землицу выбиваете, со мной спорите и с другими... Не понимаю, не понимаю!!!

Последние слова Николай Агарин почти выкрикнул... и умолк, остановленный ладонью, опущенной на его плечо.

– Николай Мефодьевич... Успокойтесь. Сядьте же, выпейте... моя Дунька неплохой ерофеич делает. Да я вам сам и налью. Нет-нет, до дна, иначе не проберёт, знаю что советую... Ну? Ну? Вот так. Пробежал по сердцу ангел босыми ножками?

– Вы – сумасшедший. – убеждённо сказал Агарин, ставя на стол пустой стакан.

– Возможно. – не сразу отозвался Закатов. Долго молчал. Молчал и Агарин.

– Послушайте, Николай Мефодьевич, – наконец, снова заговорил хозяин дома. – И не примите на свой счёт то, что я скажу. У меня и в мыслях нет обидеть ни вас, ни кого-то ещё из соседей. Как бы мы ни относились к Манифесту, как бы ни размахивали своим дворянством – дело сделано, и вспять ничего не поворотить. С этим вы, надеюсь, спорить не станете? Мужики получили волю и требуют земли. На мой взгляд, тоже спорить не с чем: они живые люди и есть хотят. Те куски, которые им по новому закону положены, – просто курам на смех. Это втрое меньше против того, что они прежде запахивали. Но мы эти куски обязаны предоставить согласно воле государя. И от нас зависит, будут ли продолжаться бунты в уезде, – или, наконец, все придут в себя, успокоятся, вспомнят о долге и...

– Я успокоиться, воля ваша, не могу! – хрипло перебил Агарин. – Да и вы на святого не похожи, Никита Владимирович.

– Упаси Господь. – без улыбки согласился Закатов. – Вы вот спросили, как я могу с убийцами супруги моей либеральничать... Убийцы, Николай Мефодьевич, давно на каторге. А атаман их даже и в могиле: я слышал, что Стриж после кнутабойства не выжил. Стало быть, своё получил, и глупо покойнику счета выписывать. А у меня под началом село и две деревни. С мужиками, – которые не бунтовали, даже когда голод в губернии был. Помнится, что и ваш дом не

мужики из деревни сожгли, а стрижевские разбойники...

- Помилуйте, а разбойники-то разве не из мужиков?!

- Разумеется. Из беглых. Но ведь и они уже два года как - кто в могиле, кто на каторге. А у вас полна Агаринка тех, кто вовсе ни в чём не повинен. А вы им отказываетесь земли дать...

- Отказаться, сами знаете, не имею права. - с неприятной усмешкой напомнил Агарин.

- Не имеете. А нарезать им чересполосицы да суглинка - ещё как имеете. - жёстко заметил Закатов. - Наделы эти для мужиков неудобны, приходится постоянно пересекать ваши владения, из этого потравы получаются, вы им за это - штрафы... В лес рубить, опять же, не пускаете...

- Помилуйте, так ведь лес-то - мой! Я им, прохвостам, целую рощу под Серединкой отдал...

- Та роща ещё год назад под корень вырублена была. И вам это прекрасно известно. Ваши мужики всю зиму зубами от холода стучали да соседские леса грабили. Опять же - штрафы непомерные... Да сверх того, четырнадцать душ перемёрло.

- Это уже не моя печаль. - Агарин пожал плечами и усмехнулся. - Поскольку души эти более не мои - мне и заботиться об их благополучии незачем. Они хотели воли - вот пусть и учатся теперь жить вольно... к-каналы!

Закатов смотрел на него с непонятным выражением на лице - не то с жалостью, не то с презрением.

- Я уважаю ваши чувства, Николай Мефодьевич. Более того - частично разделяю их. Но поймите и вы... Вы ведь неглупый, образованный человек. Но отчего-то никак не желаете видеть, что мстите не тем людям. И страдают от ваших действий вовсе не те, кто виноват перед вами. Подумайте сами...

– Право, мне есть о чём думать и без этого! – отрезал Агарин, вставая. – Basta, Никита Владимирович! Я вижу, мы снова ни о чём не сможем договориться. Я, может быть, и образованный человек, но не Христос и не старец пустынный! Воле государя подчиниться я обязан, как дворянин и офицер... но нянчиться с убийцами моих родителей и сестёр, – увольте! И будь они трижды прокляты, подлецы!

– Другими словами, вы по-прежнему оставляете мужикам чересполосицу и лысую рощу? – ровным голосом осведомился Закатов.

– Да-с! И посмотрю, как вы сможете с этим хоть что-то сделать, милостивый государь! – издевательски отозвался Агарин. – По закону я полностью в своём праве! И не намерен терпеть убытки из-за отребья, которое при господах жить не желает, а без господ – не умеет! Вас возня с ними, очевидно, забавляет – ну так и Бог в помощь, развлекайтесь далее! И попрошу вас больше не вызывать меня для разбора споров с мужиками! Я – столбовой дворянин, а не мальчик на побегушках! Если им что-то угодно – пусть приходят сами!

– Я имею право вас вызывать. – негромко заметил Закатов.

– А я имею право плевать на ваши вызовы! Да-с, плевать! И любопытно будет взглянуть, как вы с этим справитесь! Род свой позорите, Никита Владимирович! Впрочем – Господь вам судья! Молитесь, чтобы Настасья Дмитриевна на том свете простила вас! А моей ноги тут более не будет! Честь имею!

Закатов, не меняясь в лице, встал, поклонился.

– Что ж, Николай Мефодьич... Мне жаль. Я, признаться, искренне надеялся на разумный разговор. Напоследок хочу лишь заметить, что вы таким образом мужиков до нового бунта доведёте.

– Ничего, не впервой. – звеня от бешенства, процедил Агарин. – Вызовем воинскую команду из уезда и передадим всё быдло. Мне в любом случае терять более нечего. Прощайте!

Хлопнула дверь. Закатов остался один. Стоя у окна, он смотрел, как Агарин, нервно кутаясь в плащ, забирается в крытые дрожки. Те, качнувшись, тронулись с места, расплескали лужу во дворе, чудом не передавив утиный выводок, и

выкатились за ворота. До Закатова донёлся сердитый крик: «Да бери же влево, скотина, увязнем!» – и всё стихло.

Некоторое время Никита стоял неподвижно. Затем, в сердцах ударив кулаком по затрещавшей раме, развернулся – и чуть не был сбит с ног:

– Тя-тя-я-я-а-а-а-а!!!!

– Маняша! – Закатов, быстро наклонившись, поймал на руки босоногий комочек. – Опять не спишь? Сейчас опрокинула бы на себя ведро в сенях, как давеча... Да что ж ты за атаман такой?!

Малышка ловко извернулась в отцовских руках, схватила его за волосы крепкими смуглыми ручонками. Чёрные, как черешни, глаза ещё были мокры от слёз, а рот уже улыбался. Глядя на неё, улыбался и Закатов.

Из сеней послышались испуганные крики, топот, и в кабинет ворвались три девки под предводительством рыжей Дуньки.

– Охти, простите, Никита Владимыч... Вырвалась, разбойница! Марья Никитишна, да что ж вы озоровать вздумали? И не накормишь, и не вымоешь, и не уложишь! Годится ль так себя барышне вести?

«Барышня» даже не повернула головы, продолжая что-то обстоятельно внушать отцу на щебечущем языке. Тот внимательно слушал, старался вовремя кивать.

– Избаловали вы её вконец, Никита Владимыч, вот что я вам скажу! – проворчала Дунька. – Никакой воли над собой наша Марья Никитишна не признаёт! Что возжелает – то ей немедля и подай!

– Дунька, ну что она дурного сделала? Она же...

– Как «чего дурного»? Ну, знаете ли, барин! Это ж вовсе никакого порядку в дому не будет, коли дитё свой карахтер этак являть станет! С самого утра бунтует, и угомону никакого! Кашку есть не изволили, ложкой в стену кинули! Супчиком во все стороны брызгались! Рубашонку новую так угваздали, что теперь и не оттереть! Чинно играть не пожелали, куклу в лоскутья разодрали! В

самы сени через головку укувыркались, чуть Пелагею там на пол не сронили, а та ушат кипятка волокна! А опосля через весь двор босиком на конюшню понеслись, только пятки мелькают, а там цыгане эти ваши, за которыми ещё глаз да глаз...

Но в этот момент Закатов, не выдержав, расхохотался. Залилась серебряным звоночком и Маняша у него на руках. Приснули девки. Только Дунька осталась насупленной.

– Избалуете вконец, вот моё вам слово! Сами потом локти кусать будете, что её замуж никто взять не захочет! Хоть какое приданое посулите – не возьмут! И ни один благородный панзиён её не примет!

– И не надо! – с облегчением сказал Закатов. – И замуж не выдам! И в пансион тоже не пушу! И хоть ты меня съешь с костями без соли!

– Ну, давайте, давайте, растите цыганку дикую! – разбушевалась Дунька (девушки за её спиной уже хихикали в открытую). – Спортили младенца цыгане эти ваши! А вы ещё и потакаете! Ох, пожалеете, моё вам слово! И как только барыню-покойницу угораздило в цыганском шатре родить!

Дунька была права. Два с половиной года назад, ранней осенью, когда графине Закатовой подошло время рожать, она даже не поняла, что с ней происходит. Не обратив никакого внимания на первые схватки, болотеевская барыня взобралась в дрожки и отправилась проверить, хорошо ли вспахана под озимые дальняя полоса у Рассохина. В результате Настю скрутило посреди пустой полевой дороги, и никого, кроме перепуганного кучера, не было под рукой. К счастью, в полуверсте от дороги, у рощи, был раскинут драный цыганский шатёр, и Кузьма на руках отнёс туда свою барыню. Через два часа Настя с помощью пожилой цыганки благополучно разрешилась девочкой, и первой Маняшкиной пелёнкой был цветастый, линялый фартук степной повитухи.

К вечеру и роженица, и младенец были доставлены в усадьбу. К тому времени уже вся дворня бегала по округе, разыскивая свою брюхатую барыню. Сам Закатов носился верхом по окрестностям, сходя с ума от беспокойства. Он первым и увидел подкатывающие к Болотееву дрожки.

«Настя! Господи, наконец-то! Где ты была?! Разве можно тебе... в твоём положении... Ох! Это кто? Это чьё? Как же так... Уже?!»

«Уже, Никита Владимирович.» – устало и счастливо сказала Настя, беря из рук сидящей рядом старухи-цыганки пёстрый свёрточек. – «Вы уж простите меня, дуру... сама не знаю, как срок проворонила. Мы с Дунькой считали, что через две недели только, а вон что вышло! Кабы не вот эта тётка Грипа...»

Но тут налетели дворовые во главе с трубно рыдающей Дунькой, начались охи, расспросы, причитания, поздравления... Закатов едва успел сунуть широко улыбающейся цыганке серебряный рубль – всё, что нашлось в карманах. Он пригласил тётку Грипу в усадьбу назавтра, для окончательного расчёта – но на другой день цыган уже не было в поле: только чернело брошенное костровище среди примятого жнивья.

А вскоре Настя погибла – глупо, нелепо, страшно. Закатов до сих пор не мог простить себе, что в тот ветреный день отпустил жену в гости. И полжизни бы отдал за то, чтобы забыть вечер с кровавыми полосами заката в сизом небе, когда на двор ворвалась Дунька – вся в крови, без платка, с безумным лицом. В её руках надрывалась криком месячная Маняша.

«Барин, миленький... Прикажете меня на воротах повесить... Не уберегла... Барыню нашу, голубушку... Не сберегла, Никита Владимирович, не оборонила... Примите младенца...»

Он едва успел выхватить из Дунькиных рук малышку – и нянька рухнула на землю в беспамятстве.

Дальнейшее Закатов помнил смутно. Милосердная память оставила ему лишь обрывки воспоминаний о том, как в кромешной темноте они с мужиками ехали в лес. Как искали впотьмах брошенные дрожки и бесчувственного Кузьму, как нашли Настю, убитую в лицо ударом топора... Кажется, мужики пытались оттащить его, уговаривая «не смотреть, не страдать попусту» – но как он мог не увидеть того, что осталось от жены?..

Закатов почти не помнил и похорон, на которые съехалась вся округа. Отпечатались в памяти почему-то лишь снег, сухой и колючий, падавший на забитую крышку гроба. Рыдала дворня, закатывалась в судорогах Дунька.

Всхлипывали в платочки помещицы-соседки, тяжело вздыхали и кряхтели их мужья. Каждый подошёл к Закатову со словами сочувствия – и ни одного из сказанных слов он впоследствии так и не смог вспомнить.

На поминках Никита почти не пил. А ночью, оставшись, наконец, наедине с бутылкой водки, в полчаса выпил её всю и навзничь повалился на неразобранную постель.

Шесть дней он пил беспробудно, гоня старого Авдеича за водкой и никого, кроме него, не впуская в комнату. День сменялся ночью, скрипели половицы под осторожными шагами прислуги, завывал ветер в трубе, голые сучья липы стучали в раму, сыпал и переставал снег... А на утро седьмого дня в комнату решительным шагом вошла Дунька. Она взяла со стола едва начатую бутылку, выкинула её в сени и, уткнув кулаки в бока, сурово объявила:

«Ну вот что, барин, – пора и честь знать! До полной скверности-то допускать незачем! Уж и так образ человеческий почитай что утратили... Более Авдеича не беспокойте, а рассолу у меня немерено! Послезавтра в рассудке будете, – или я не я!»

Так и вышло. Через день, поздним утром, Закатов сидел на смятой постели, глядя остановившимися глазами в стену, и безуспешно пытался вспомнить, что он натворил за эти дни. Несколько лет назад, сразу после войны, он много пил – но пьяным никогда не буянил и вообще глупостей не делал. Может, и сейчас обошлось?.. Хуже всего было то, что он ничего, совершенно ничего не мог вспомнить. Ничего – кроме крышки гроба и сыплющегося на него сухого снега. Дальше начиналась чёрная дыра.

Скрипнула дверь. Вошла Дунька с сапогами в руках.

«А сейчас, барин, пройтись извольте!»

«Дунька, ты с ума сошла?...» – не поворачивая головы, спросил он. – «Поди вон... Я хочу спать и...»

«После спите, сколько хотите.» – милостиво разрешила Дунька. – «А сейчас, хоть убейте, извольте на двор идтить! В комнате-то прибрать надо, хоть топор вешай... Вы своим телом недвижимым только девкам мешать будете!»

Закатов молчал, не в силах не только пререкаться с Дунькой, но даже смотреть на неё. Было, однако, бесспорно, что выметаться из дома всё же придётся. Он уже начал собираться с духом, чтобы подняться – как вдруг услышал шуршание бумаги. Закатов обернулся. Рядом с ним на столе лежала стопка писем.

– Это что такое?

– Ваше, барин. – спокойно пояснила Дунька, стоя к нему спиной и одёргивая занавески на окнах. – Сами ж писали в эти дни. Писали, Авдеичу отдавали да велели отправлять. А я на всякий случай у него отбирала, потому вы не в полном здравии были, и мало ль что там оказаться могло, в бумагах-то этих... А после-то поправить тяжеленько будет!

– Дай сюда. – мёртвым голосом приказал Закатов, только сейчас смутно вспоминая, что, кажется, и в самом деле было... что-то спяну писал... Взяв в руки письма, он убедился, что все они были адресованы княгине Вере Николаевне Тоневицкой.

Сорвав одну из печатей, Закатов с ужасом вчитывался в собственный пьяный бред.

– Скажи... – словно со стороны услышал он свой сорванный голос. – Авдеич ездил в уезд?.. Хоть одно письмо было отправлено?

– Ни единого. – отозвалась Дунька, старательно расставляя на столе книги. – Я все поотбирала. Уж простите, коли виновата, нынче же велю...

– Дунька, ты спасла мою жизнь и честь.

Она промолчала, хотя Закатов явственно услышал её невесёлый смешок. Он растерянно начал было складывать измятые листки на коленях – и вдруг вспомнил, что Дунька грамотна и она могла... разумеется, могла... Жаркая волна ударила в лицо. Закатов неловко положил стопку писем на стол. Отвернулся к окну, не смея взглянуть на няньку. Он не мог даже спросить, читала ли она эти письма – прекрасно зная, что услышит в ответ: «Как можно, барин, смеем ли...» В комнате наступила тишина, прерываемая лишь шуршанием Дунькиной юбки: она расставляла разбросанные вещи по местам. Затем послышалось грозное:

«Барин, да уберётесь вы из дому, в конце концов, аль нет?!»

Закатов поспешил подчиниться.

На дворе было белым-бело. Всю ночь падал снег – и не растаял наутро, затянув покрывалом все неровности, ямы с грязью, выбелив поленницу и крыши, мягкими шапками осев на кистях рябины у забора. Стоя на крыльце, Закатов изумлённо смотрел на воцарившуюся за одну ночь зиму. Острый, морозный воздух коготками вцарапался за воротник шинели. От сухой свежести у Никиты так закружилась голова, что он, покачнувшись, ухватился за дверной косяк – и на него тут же свалился огромный снежный ком. Выругавшись, Никита стряхнул с волос холодное крошево, огляделся. У поленницы Авдеич и Кузьма кололи дрова. Перехватив взгляд барина, они бросили работу, поклонились. Закатов кивнул им – и медленно начал спускаться с крыльца.

Он уже выбрался на пустую деревенскую дорогу за околицей, вдоль которой щётками торчали голые кусты, когда его догнала укутанная платком Дунька со свёртком на руках.

– Вот... Марью Никитишну прогуляться вынесла. Пососали с утра молочка да уснуть изволили. Спят-то крепенько, здоровеньки, не сглазить бы...

Закатов остановился. Превозмогая головокружение, заглянул в безмятежное личико малышки. словно почувствовав этот взгляд, Маша сладко зачмокала и выпятила губу.

– Не смей давать ей этот жёванный хлеб в тряпке. Только портить желудок! Настя не разрешала...

– И не собираюсь даже! – фыркнула Дунька. – Маняша и без соски спит сладенько! Кормилицу я уж нашла ей, даже не беспокойтесь! Наша Федорка такова коровища, не в обиду будь сказано, что на троих молока достанет... – Дунька вдруг всхлипнула. – Голубушка моя Настасья Дмитриевна сама кормила... никого не слушала... О-о-ох...

– Не реви, Дунька. – ровным голосом приказал Закатов, глядя на низко висящие над лесом свинцовые тучи. – Не реви. Не то и я сейчас вместе с тобой взвою.

Хороши будем оба...

Дунька зажмурилась и замотала головой. Маняша в её руках недовольно пискнула.

- Дай сюда. - Закатов отобрал свёрточек.

- Ой, барин, не сроните! - тревожно потянулась Дунька. - Вы ж ещё не больно в здравии, кабы беды не вышло...

- Отстань. Как я уроню собственного ребёнка?

- Вы один у Машеньки теперь остались, Никита Владимирович. - спокойно и строго сказала нянька. - На вас грех будет, коли судьбу её упустите. Настасья Дмитриевна с небес за вами следить станет...

- Да уж не страшай меня, сделай милость. - криво усмехнулся Закатов. - Я... видит Бог, постараюсь. Хотя и ничего в этом не смыслю. Кстати, Дунька, - хочешь, я дам тебе вольную?

- Это за какую же провинность, барин?! - возмутилась та.

- Постой... Но ведь ты не моя, а Настина... была...

- Ну, а теперь, стало быть, ваша! - объявила Дунька. - Коль не желаете владеть, на Марью Никитишну перепишите! Ишь, вздумали - покойной супруги имущество по ветру пущать! И куда же я пойду, с вашего позволения, - вольная-то? От Машеньки, ангелочка нашего?.. И что вы с ней, позвольте узнать, делать-то без меня будете? Кому на руки сдадите? Федоре, дурище этой? Аль девкам, у которых ветер под хвостом свистит?!

- Ну... как знаешь. - пожал плечами смущённый Закатов. - С тобой мне, конечно же, будет легче...

- То-то и оно-то! И отдайте младенца... а то держите как полено еловое. Идёмте домой.

– Ты ступай. – Закатов осторожно передал малышку. – Я, пожалуй, пройду ещё немного. Не беспокойся, скоро вернусь.

Дунька ушла. Проводив её взглядом, Закатов медленно повернулся и, ссутулившись от холода, зашагал по пустой, обледенелой дороге. Тяжёлые тучи, поднявшись из-за леса, уже закрыли собой полнеба. В воздухе завертелись первые снежинки. Глядя на них, Закатов вспомнил о том, что точно в такой же серый, холодный день три года назад сделал предложение Насте. Они не любили друг друга и едва были знакомы. Настя была сиротой-бесприданницей, Закатов – хозяином трёх нищих деревень, где мужики едва сводили концы с концами. Обоим нечего было ни ждать, ни терять. Они поженились. И в глубине души Закатов надеялся, что Настя не пожалела о своём решении. Он ни разу не обидел жену, старался выполнять её просьбы, пытался быть внимательным. Плохо, вероятно, пытался, но Настя никогда не жаловалась. Легко, шутя она привела его неряшливую холостую жизнь в порядок, взяла в руки и дом и хозяйство, и, казалось, всем была довольна.

«Мы с ней могли бы жить и дальше.» – думал Закатов, отворачиваясь от холодного ветра. – «Может, и жили бы хорошо. И ты бы успокоился в конце концов... Не век же убиваться по несбывшемуся счастью! На четвёртом десятке даже как-то и смешно. А теперь Настя нет. И ведь как глупо, как бессмысленно... Несправедливо как! Убита беглыми мужиками, разбойниками! Она, которая никогда в жизни даже дворовой девки за косу не выдрала, – не то что эта ведьма Агарина... Настя с этой своей Василисой носилась как с писаной торбой, а та... Впрочем, что ж теперь рассуждать. Глупо в тридцать лет ещё рассчитывать на справедливость в жизни... Когда и где ты её видел, Закатов?»

Внезапный порыв ветра налетел с реки. Он взметнул полы закатовской шинели, подхватил ворону, мерно взмахивающую крыльями над стернёй, и резко швырнул её в сторону. Заунывное карканье огласило окрестности. Перепуганная ворона кое-как выровняла полёт и уселась от греха подальше на голую ветлу, крепко вцепившись когтями в сук. Закатов с невесёлой усмешкой следил за ней.

«В точности как я... Только вот уцепиться не во что.» – подумал он, сворачивая на стёжку к деревенскому кладбищу. Но на полдороге вдруг круто развернулся и зашагал назад. Почему-то мысль о том, что он увидит Настину могилу, привела его в ужас, – и до самых сумерек Закатов мерил шагами околичную дорогу, так и не решившись заглянуть на погост. Ни отчаяния, ни боли в сердце уже не было. Лишь тоска – привычная, давняя, – капля за каплей возвращалась в душу. Он

снова остался один.

Ночью Никита стоял у окна, в которое бился снег, слушал вой ветра в трубе. В доме было тихо, лишь из сеней доносилось похрапывание Авдеича. Глядя на язычок свечи в чёрном стекле окна, Закатов старался думать о покойной жене – и не мог. В голову упорно, преступно шли мысли о совсем другой женщине. Те мысли, от которых он так и не смог избавиться за годы своей женатой жизни. Видит бог, он старался... Старался изо всех сил, понимая, что не выпускать Веру из сердца – глупо... что нельзя всё время думать о том, что не сложилось да и сложиться не могло. И ничего не мог с собой поделаться. Не было дня, чтобы он не вспомнил Веру – сестру своего лучшего друга, Веру – княгиню Тоневицкую... Что толку теперь беречь душу?

«Ты, Закатов, теперь – старик, безутешный вдовец и одинокий папаша.» – с насмешливой горечью думал он. – «Только и остаётся, что дорастить Машу до замужества – а там уж с чистой совестью застрелиться. И кончится, наконец, весь этот кошмар... Стоило столько лет его длиться! Вся твоя жизнь – нелепая, унылая, ненужная кишка, которая тянется, тянется... и никому от неё ни счастья, ни радости. И в первую очередь – тебе самому. Даже Настю не сумел уберечь – супруг, мужчина... Кому ты теперь нужен... да и кому был нужен хоть когда-нибудь? Вера считает тебя малодушным трусом – и она тоже права. Твоё предназначение в жизни – приносить всем беду. Так, может, довольно, наконец?... Твоё счастье, что Дунька оказалась умницей и не позволила отправить эти письма... тьфу, позорище! Если бы до Веры дошло хоть одно... Трезвым, небось, ни разу не решился ей написать, духу не хватало, а спяну... да ещё недели не прошло, как Настя умерла... Ну что ты за сукин сын, Закатов?!.»

Скрипнула дверь. Никита обернулся.

– Дунька, тебе чего? Что-то с Машей?..

– Спит Маняша, не беспокойтесь. – нянька не спеша вошла в комнату. – Сами-то пошто свечу жгёте? Ночь-полночь...

– Не знаю. Не спится. А ты ступай.

– Сейчас, только огарок вам переменю. А то вон уж совсем фитилёк плавает... Да уйдите вы от окна-то! Может, книжку какую потолще принести?

– Какие теперь книжки, Дунька... – отмахнулся он. – Иди спать.

Дунька не послушалась. Закатов слышал, как она меняет свечу в старом медном подсвечнике. Вскоре шаги послышались совсем близко: Дунька подошла и встала у него за спиной.

– Полно, барин, не убивайтесь. Что ж поделать, коли божья воля... Авось голубушке-то нашей, Настасье Дмитриевне, на небе легче, чем нам тут. Верно, Господь в ангелицы её взял за кончину мученическую... Сами видите, даже я уж не реву. А уж поболее вашего барыню-то любила!

– Я её вовсе не любил, Дунька. – Закатов, не отрываясь, смотрел на снежные сполохи за окном. – И она меня тоже. Удивительно бессмысленной вышла эта наша жизнь...

Дунька ничего не ответила. Закатов отошёл от окна; сел на старый скрипучий стул, опустил голову. И ничуть не удивился, когда Дунька, подойдя, спокойно обняла его.

– Экие глупости несёте, Никита Владимирыч... Право, слушать совестно. – задумчиво выговорила она. – Любили, аль не любили – какая разница? Жили-то по-доброму, не сворились. Вы голубушку мою не обижали. И никакого безмыслия тут не было, ибо сказано: «Плодитесь и размножайтесь». Про Маняшу-то нешто забыли? Али и она вам безмыслие?.. Полно убиваться, Никита Владимирыч. Христос терпел и нам велел, смиритесь...

От Дуньки пахло квасом, ржаным хлебом, молоком. Ни о чём больше не думая, Никита ткнулся в её грудь, в грубый холст рубахи. Шершавая ладонь погладила его по волосам, и две тёплые капли одна за другой упали ему на голову.

– Мне плакать не велишь, а сама-то?:..

– А мне можно, я дура-девка. – всхлипнув, отозвалась она. – Ложитесь, барин, спать, Господь с вами...

– Не уходи. Прошу тебя, останься.

Короткое молчание.

– Воля ваша.

Дунька ушла лишь под утро, бесшумно скользнув за дверь, когда из-за стены послышался жалобный писк проснувшейся Маняши. Оставшись один, Закатов перевернулся под одеялом, обнял смятую, горячую подушку и уснул мёртвым сном.

Он был бесконечно благодарен Дуньке за то, что она незаметно и ловко взяла в руки хозяйство, девичью, скотный двор. Всё делалось и спорилось, в комнатах было чисто и сухо, из девичьей, как при Насте, доносились жужжание прялок, стук ткацких станков, песни и смех. Коровы доились, куры неслись, и барину, слава богу, не нужно было вмешиваться ни во что. Но самой главной Дунькиной заботой по-прежнему оставалась Маняша: «цыганский выкормыш.»

То, что Манька родилась смуглой и черноглазой, никого не удивило. Настя и сама была такой: в роду её по материнской линии имелись татарские князья. Но хватки у младенца были и в самом деле самые что ни на есть бродяжьи. С первых же дней юная графиня Закатова не признавала пелёнок, буйно расшвыривая их пятками и протестуяще вопя, когда нянька пыталась спеленать сучащие ножки. Она рано и села, и пошла, – и покоя в доме не стало никому. Стоило на миг отвернуться – и смуглый комочек в рубашонке выскользнул за дверь. Дважды Маньку ловили в огородных грядках, трижды – на скотном дворе, несколько раз – застрявшей между палками забора. А однажды барышне даже удалось добраться до дороги и счастливо завалиться в грязь рядом с деревенской свиньёй – совершенно ошалевшей от такого общества.

«И до чего ж дитё убегучее – просто сладу с ним нет!» – жаловалась Закатову Дунька. – «Это ж никакого здоровья не хватит цельными днями за нею носиться! Вот, барин, что цыгане-то ваши понаделали! Прямо сразу ж, с места не сходя, и сглазили! Сущее перекасти-поле вышло, а не графиня! У меня времени недостаёт – так уж Агашка с Фенькой с ног сбились, за Марьей Никитишной по двору летая! Только-только сидела на половичке, нитки из него тянула, как приличная барышня, – и вдруг разом нет! И не видать! Ума не приложу, что и поделать! Ведь, не ровён час, в колодец свалится! Запирать её, что ли, от греха?»

«Только попробуй! Ума ты, что ли, лишилась? Запри лучше колодец, пусть Авдеич крышку приладит!» – содрогался Закатов. – «А если Агашка и Фенька не справляются, возьми ещё девок, – но пусть бегают куда хочет!»

«Разбалуете, барин!» – грозно предрекала Дунька. – «После локти обгрызёте!»

Но в глазах суровой няньки прыгали лучики. Она до беспамятства любила своё «дитятко». Маняше была предоставлена полная свобода. Закатов не знал, правильно ли поступает, отчётливо понимая, что ничего не смыслит в воспитании детей. Но стоило крошечной Маньке всхлипнуть – и у него падало сердце, и он точно знал: никогда в жизни он не вынесет горя этого крошечного существа.

Закатов хорошо помнил собственное безрадостное детство: мать умерла родами, отец никогда не интересовался сыном, и Никита вырос как лопух под забором – никому не нужный, не ждущий ни от кого ни любви, ни ласки, ни внимания. О том, что такие вещи есть на свете, он узнал лишь позже, попав в семью своего друга Мишки Иверзнева, где все любили друг друга до самозабвения. Закатов несколько раз ловил себя на мысли, что, размышляя о дочери, он невольно думает – а что сказала бы по этому поводу Мишкина мать? А Вера? А сам Мишка?

Они дружили с детства, с кадетского корпуса, и только Мишке Закатов мог иногда открыть душу – делая это, впрочем, неохотно и долго мучаясь потом собственной искренностью, словно дурным поступком. Мишка всегда полусерьёзно, полушутя обижался на эту замкнутость друга: сам-то он жил нараспашку и искренне не понимал, что за тайны можно скрывать от близких людей. У Закатова отродясь не было никаких тайн, но изливать сердце он так и не выучился, – да и большого смысла в этом не видел. При этом солгать Мишке он не мог никогда. И посему, обвенчавшись с Настей, так и не решился написать об этом другу. Почему-то именно перед Мишкой было смертельно стыдно за эту безрадостную, торопливую женитьбу. Как было писать о том, что женился на едва знакомой соседке, оставаясь без памяти влюблённым совсем в другую женщину? Что связал свою жизнь с совершенно чужим человеком лишь потому, что мучительно не хотелось зимовать одному в ненавистном отцовском доме? Мишка никогда не смог бы этого понять. И Закатов, день ото дня собираясь написать другу, так и не заставил себя сделать это. И, скорее всего, их дружбе с Мишкой пришёл бы конец, если бы год назад не разболелась Маняша.

Закатов до сих пор не мог спокойно вспоминать тот декабрьский метелистый вечер, когда к нему в кабинет постучалась встревоженная Дунька.

– Уж простите, барин, что беспокою... У Машеньки нашей жар поднялся!

– Когда началось? – испуганно спросил он.

– С утра уж заметно было. А сейчас и вовсе худо.

– Почему сразу не сказала, дура?! – загремел Закатов, вскакивая из-за стола. На пол посыпались книги, карандаши, упала и покатилась пустая бутылка... Дунька кинулась всё поднимать, объяснять, что ещё утром Машенька была жива-здоровая, только глазки уж как-то сильно блестели, в обед кашку кушать отказалась, а сейчас уж горяча как печка... Не дослушав, Закатов вылетел из кабинета.

Впоследствии он признавался сам себе, что та ночь была самой страшной в его жизни. Даже на войне, на Малаховом кургане, под огнём французской пехоты, под пушечными ядрами он не испытывал ничего подобного. Дунька была права: Маняша горела огнём. Из груди малышки вырывался грубый, тяжёлый кашель, кожа была сухой, словно пергаментной. Закатов, разумеется, тут же распорядился послать в уезд за доктором, но по лицам зарёванных девок видел: бессмысленно. За окном разыгралась страшная метель, белые столбы поднимались выше ворот, в трубе выло и визжало так, будто там застрял сам Сатана.

– Дозвольте, барин, лучше за нашей Шадрихой спосылать. – всхлипывая, предложила Дунька. – Лучше её во всей волости никто не лечит...

– Делай как знаешь.

– Распорядитесь лошадь дать. Шадриха у Браницких сейчас, ихнего управляющего от почечуя оттягивает...

– Делай как знаешь, чёрт возьми! И пошла вон! Я сам побуду с Машей, убирайтесь!

Дунька, давясь слезами, выбежала из комнаты. Следом порскнули девки. Закатов взял Маняшу на руки, положил её головку себе на плечо. Медленно-медленно начал ходить по комнате.

Час шёл за часом. Скрипел сверчок за печью, голосила в трубе вьюга. За окном мело. Скрипели половицы под мерными шагами. Маняша то замолкала, хрипло и, тяжело дыша, то принималась жалобно плакать. Никита осторожно перекидывал её горячую головку на другое плечо, и малышка ненадолго утихала.

«Всё... Господи, всё... Как она горит... Крошечная... Что тут можно сделать?.. Господи, но это-то за что?!» – с отчаянием думал Никита, против воли оглядываясь на почерневшую икону в углу. – «Боже мой, я не святой... нет... но ведь и смертных грехов не совершал... так за что же ещё и это?.. Чёрт, Закатов, чёр-рт, что ты несёшь?! Ты ведь не верил никогда ни в какого бога! Всю жизнь в церкви крестился и молился по обязанности! Кому ты теперь задаёшь вопросы?! Не ты ли всё на свете объяснял по-татарски «судьбой»? Вот и дообъяснялся... Господи, но, может, есть надежда?..» – в который раз он касался губами пылающего лба дочки, и на какой-то миг ему казалось, что тот стал прохладней... Но тут же Закатов понимал, что обманывает самого себя. Маняша в его руках хныкала всё мучительней.

– Что, маленькая? Неловко тебе? Чёрт, да что же делать... – Никита понимал, что хорошо бы отдать дочку Дуньке или кому-нибудь из девок, чтобы те хотя бы спели ей... Но выпустить больную малышку из рук ему казалось невозможным. Сам он петь не умел и от беспомощности начал вполголоса говорить стихи:

– Что делаешь, Руслан несчастный,

Один в вечерней тишине?

Людмилу, свадьбы день ужасный,

Казалось, видел ты во сне...

Неожиданно Маняша умолкла. Закатов, чуть не теряя сознание от ужаса, прислушался к дыханию дочки – и тут же снова раздалось хныканье. Он с трудом перевёл дух, чувствуя, как бежит по спине пот. И продолжил:

– Из мощных рук узду покинув,

Ты шагом едешь меж полей,

И медленно в душе твоей

Надежда гибнет, гаснет вера...

Когда под утро в горницу быстрым шагом вошла старая и сморщенная Наина в облепленном снегом платке, Закатов уже подбирался к восстанию печенегов. Страшно болела голова, в глазах меркло, и он с трудом узнал в Наине деревенскую знахарку Шадриху, за спиной которой толкалась вся девичья.

– Барин! – ахнула Дунька. – Это что ж – вы до сих пор с дитятей сам маетесь?! Ведь цела ночь прошла! Девки! Что же вы, поганки, Машеньки у барина не взяли?

– Не виноватые мы, Авдотья Васильевна! – наперебой запищали те. – Никита Владимирыч сами барышню не давали...

– Не шуми на них, Дунька. – Закатов едва узнал собственный охрипший голос. – Я не мог её никому отдать. Шадриха, здравствуй. Что ж... поглядишь?

– Здравствуй, барин. – в лицо ему блеснули по-молодому насмешливые глаза старухи. – Ну-ка, покажи барышню нашу. Что могу – сделаю, только всё в Господней воле... Клади сюда, на стол, под свечу... Да она, никак, заснула у тебя?

Закатов осторожно положил малышку на стол, и Шадриха склонилась над ней.

– Рубашонку примите... Вот так... Вот эдак... Придержите ручку барышне... – словно сквозь сон, слышал он повелительный голос знахарки. Голова отчаянно кружилась, ныли плечи и руки, и Никита был вынужден прислониться к стене. Не выдержав, он закрыл глаза и сам не знал, сколько стоял так. И даже не понял, кто и зачем так отчаянно трясёт его за рукав.

– Барин! Бари-ин! Никита Владимирыч!

Неимоверным усилием он заставил себя разлепить веки – и увидел залитое слезами лицо Дуньки. Сердце оборвалось.

– Что, Дунька? Всё?..

– Господь с вами! – только сейчас он увидел, что нянька улыбается сквозь слёзы. – Жар-то у Машеньки нашей упал! Вовсе нету! Вся пелёнка пропотела наскрозь! А Машенька тёпленькая лежит да спит покойно! Нешто вы старец святой, Никита Владимирыч?!

– Не грехи, дура! – оборвала её Шадриха, ловко одевая Машу в чистую рубашонку. – А только, барин, и впрямь чудо Господне... Глянь сам – дышит ровненько, только сипло малость... Ну, на то у меня мазь особая имеется, и отвар сейчас в печь поставлю. – Шадриха неожиданно усмехнулась, показав крепкие желтоватые зубы. – Ведь всамделе цыганское у тебя дитё – не сочти, барин, за обиду! Не то сама себя излечила от хвори, не то ангел к ней в ночи спустился! Молись, барин, за исцеление младенца Марии!

Закатов ничего не смог ответить: горло словно стиснуло клещами. От нахлынувшего облегчения потемнело в глазах, и несколько мгновений он всерьёз опасался, что сейчас грохнется, как институтка, в обморок. Совершенно по-детски хотелось разрыдаться, и во избежание публичной катастрофы Никита до ломоты стиснул зубы.

Дунька пристально взглянула на него через стол. Вполголоса сказала:

– Выподите, барин, поспите. Шутка ли – всю ночь младенца на руках проносить! Знаем, поди, каково это, сами нашивали... Подите уж, лягте. Мы тут теперь и сами управимся.

Закатов вышел не споря. Добрался до спальни, ничком рухнул на кровать – и провалился.

Проснулся он поздно. Метель улеглась, и комнату наполнял блёклый свет пасмурного дня. За окном намело так, что сугробы поднялись выше окон. Чуть слышно тикали часы. Скреблась мышь под полом. Несколько минут Закатов бездумно вслушивался в это копошение... а потом вдруг, разом вспомнив минувшую ночь, одним прыжком вскочил с кровати.

В комнату вбежала Дунька.

– Господь с вами, барин! Что это у вас так бухнуло?! Никак, шифанер с книжками завалился?

– Никак нет, Дунька, это я сам... так поднялся неудачно. Что там с Машей?

– Спит! – с широченной улыбкой отрапортовала нянька. – Спит, ангелица наша, и губочками чмокает! С утра изволили молочка пососать и опять уснули!

– А жар? А кашель? А...

– Как рукой всё сняло! Истинное чудо Господь явил! – на лице Дуньки сияли все веснушки. – Не иначе, Настасья Дмитриевна наша на небеси Господа за своего младенца умолила! А может, мою грешную молитву Бог услышал... Может ещё статья, что...

Но Никита, уже не слушая больше, сгорбился на кровати и, не стыдясь няньки, закрыл лицо руками. Дунька умолкла на полуслове, подошла, молча обняла его за плечи. Молчал и Закатов. В голове было холодно и пусто. И он точно знал, что теперь его в этой жизни не напугать больше ничем.

Той же ночью Закатов написал письмо Мишке. Сидя за столом перед моргающей свечой, он торопливо гнал по бумаге строку за строкой, рассказывая о том, как жил эти три года. О женитьбе без любви. О времени, прожитом с Настей. О нелепой и страшной её гибели, о маленькой дочке, оставшейся у него на руках, о том, что он знать не знает, как растить детей. О собственных детских годах, мучительных и тяжких, про которые не рассказывал прежде никому на свете –

даже Мишке... За окном уже светало и огарок в позеленевшем подсвечнике превратился в оплывшую лужицу, когда Закатов бросил перо, присвистнул, увидев стопку исписанных листов (никогда в жизни столько не писал!) и, подумав, добавил ещё несколько строк:

«И прости, что не писал до сих пор. Поверь, дня не было, чтобы я о тебе не вспомнил. Просто я тебя, брат Мишка, всю жизнь знаю и могу вообразить, что ты обо мне думаешь теперь. И ведь, что самое обидное, ты прав... и всегда был прав. А изменить уж ничего нельзя, и быть мне во веки веков безнадёжной скотиной, аминь. Остаюсь по-прежнему твой друг Никита Закатов.»

Письмо в Иркутск было отправлено. Никита не ждал ответа раньше весны и был очень удивлён, когда в середине февраля ему привезли из уезда пакет с московским адресом Иверзневых. Из пакета выпала короткая записка Веры и угрожающей толщины Мишкино письмо. Как оказалось, другу подвернулась оказия и удалось отправить письма родным, минуя непременно полицейскую цензуру, напрямую в Москву. Неловкими от волнения пальцами Никита разорвал конверт.

На приветствия и пожелания здоровья Мишка не стал тратить времени, и письмо начиналось весьма решительно:

«Закатов, ты не скотина, а просто болван, и нет тебе моего помилования! Только такой непробудный осёл, как ты, и мог подумать, что я буду за что-то тебя судить! Как будто бы не знаю я тебя вот уж почти двадцать лет! Ты, сукин сын, мне писать не хотел – и на что рассчитывал, право, не знаю! Ведь и Верка, и Саша, и Петька мне сообщали о житии твоём во всех подробностях! И безо всяческих проверок: у Сашки сам знаешь какие возможности есть по службе. Мне пришлось прочесть целых три версии, касающиеся причин твоей женитьбы, – и в цель попала одна только Верка! Впрочем, чему ж удивляться: она тебя сердцем чувствует... и только посмей сказать, что это не так! Так что знаю я о твоих семейных делах давным-давно и, признаться, даже рад был, что кто-то за тобой там приглядывал. Нельзя тебя, Закатов, одного оставлять надолго: серьёзных глупостей наделать можешь. Я, грешным делом, считал, что ты Бог вещь что натворил в своём Болотееве, коли стыдишься мне писать... Жаль, что с женою твоею я не успел познакомиться. А теперь уж и не придётся. Прими, брат Никита, мои соболезнования, искренне обнимаю тебя и прижимаю к сердцу... ты снова один, душа моя. Кабы веровал я в Бога – написал бы тебе, что пути Его неисповедимы и что Он сам терпел и нам велел, и прочее в том же

поповском духе. Но мы с тобой попам давно не верим. Скажу только, что, к счастью, не может человек ничего знать о своей судьбе наперёд. А посему не вздумай там, в своём медвежьем углу, опять запить и образ человеческий утратить! Меня рядом нет, отнимать бутылку и в совесть тебя вгонять некому. Знаю, что имеешь право, и повод уважительный налицо, – и всё же думать забудь. Ты мужчина и человек, раскисать нам нельзя, а надобно делать, что должно – а там уж как кривая вывезет. Слишком много народу от тебя зависит: и мужики твои, и дочка – которой не пошли Бог такие же детские годы, каковыми твои собственные были. Помни это, брат Никита... а более ничего советовать не стану, ибо бесполезно. Кабы я ещё на что-то надеялся – велел бы тебе кинуться Верке в ноги и тащить её под венец, а то сколько уж можно, право... Жаль и тебя, и сестру. Не знаю даже, кого более. Но я знаю, что ты с места не двинешься ради собственного счастья, так что и слов напрасно тратить не стану. Бисер метать перед таким созданием, как ты, бессмысленно. А потому больше ни слова о твоей горькой судьбине ты от меня не услышишь.»

В этом месте Закатов невесело усмехнулся. Подумал о том, что Мишка сильно изменился и, кажется, повзрослел, – а ведь всего три года не виделись... То ли жизнь ссыльная обломала, то ли просто время наступило, и оба они стареют, куда деваться... Выбравив себя мысленно за ненужную чувствительность, Никита продолжил чтение.

Из прошлых писем он знал, что в Иркутске друг оказался под надзором полиции, но сидеть без дела не пожелал (кто бы в этом усомнился!) и выпросил себе под начало больницу винного завода. Поскольку Иверзнев был студентом-медиком, запущенный лазарет ему отдали охотно. Никита с увлечением читал бурные излияния друга по поводу каторжных порядков:

«Это же чёрт знает что такое, как начнёшь всерьёз разбираться! Вот ты со мной спорил вечно, а я и прежде знал, и сейчас повторю: то, что народ в России терпит, никакая Европа не выдержит! Здесь половина женщин прибыла за своими благоверными, а вторая половина – или порешили своих господ-извергов, или мужей-мучителей. Мужики разные попадают: кто и впрямь за дело сидит, кто – по недоразумению, кто вовсе потому, что мир так порешил... И ты мне ещё говорил, что должно всё оставить как есть и ждать, покуда само собой наладится! Нет, брат Никита, ничего само собой не устраивается! И колесо само из колеи не выйдет, а надобно брать, подымать и тащить, на твёрдую землю ставить... тогда, может, и прок будет. Не поверишь, но я в самом деле рад, что здесь оказался. Упаси тебя Бог передать это братьям или Верке, они и так из-за

меня намучились. Но ты сам знаешь – по-другому я тогда никак не мог.»

«И ведь вправду не мог, якобинец чёрттов!» – сердито думал Никита, пробегая глазами чёткие, косые строчки. – «Хлебом не корми – дай бежать сломя голову под каким-то знаменем и кого-то избавлять да освобождать... И всю жизнь таков был! С Российской империей не повезло: под суд попал, – так теперь и на сибирской каторге вознамерился справедливость устанавливать! Как Бог свят, доиграется снова... а ему ведь всего два года осталось!»

Но, думая так, он не мог не восхищаться другом.

«В одном ты, Закатов, был тогда прав: мы все старались делать дело, совершенно его не зная. Думали о народе российском, судя о нём по собственным кучерам да кухаркам, не зная ни подлинных нужд его, ни чаяний, ни мыслей. Я только сейчас более-менее разбираться стал, когда на каторге оказался, бок о бок с этими людьми! И вижу, что не с того, совершенно не с того мы начали! Вот сейчас, слава богу, волю дали, и надо бы нам всем вместе...»

«Господи, он рассуждает ещё!..» – оторопело думал Закатов. – «Ничему человека жизнь не выучила! Не с того он видите ли, начал! И ведь вовсю намерен продолжать! Попал на каторгу – и рад до смерти! Воистину, могила его исправит... Ей-богу, надо Сашке написать, пусть мозги ему вправит, пока не поздно!»

Про себя Никита, конечно же, знал, что жаловаться Иверзневу-старшему он не будет никогда. Да и не смог бы Саша ничего сделать: куда уж тут Мишке поперёк дороги становиться, когда тот опять верный путь учуял, карбонарий безнадёжный... Одна надежда – на то, что не успеет до освобождения серьёзных дел наворотить и не останется в Иркутске ещё лет на десяток.

Заканчивалось письмо неожиданно:

«А по поводу твоей дочери, которая у тебя на руках, как ты пишешь, осталась, – мне, право, и сказать нечего. Что я смыслю в детях? Ты, брат Никита, тут попал как кур во щи... И, знаешь что – напиши-ка ты лучше Верке! Она в этих вещах сущий профессор: с шестнадцати лет по гувернанткам, и сейчас сама троих детей тянет – да ещё чужих! Ты знаешь, что Вера умна и плохого во всяком случае не посоветует. И не думай, что я опять пытаюсь вас свести. Никогда

сводничеством не занимался и сейчас не намерен. Да с вами, упрямыми, и спорить нормальному человеку для здоровья вредно!»

Во втором часу ночи Дунька, взволнованная тем, что барин не ужинал и за весь вечер ни разу не вышел из кабинета, осторожно поскреблась в дверь:

– Никита Владимирович, разрешите?..

– Чего тебе? – не поднимая головы, спросил Закатов. Он сидел за столом и что-то быстро писал. Не дождавшись ответа, отрывисто бросил, – Ступай спать.

Дунька всплеснула руками, собираясь высказаться от души... но вместо этого тяжело вздохнула и отступила назад.

На черновики ушла целая пачка бумаги: впервые в жизни Закатов писал женщине, которую любил, на трезвую голову. Впервые это письмо имело шанс дойти, наконец, до адресата. Набрасывая строку за строкой и безжалостно вымарывая их, Закатов внутренне усмехался: небось, пьяным писал – ни о чём не рассуждал, восемь писем навалаял как нечего делать... Тогда он так и не смог перечитать собственную хмельную писанину: слишком было стыдно, – и сейчас почти жалел о том, что спалил неотправленные письма в печи. Глядишь, хоть пару путных строк можно было бы вытянуть оттуда... Но поделаться уж было ничего нельзя, и приходилось мучиться над каждым словом. Уже под утро последний скомканный черновик полетел под стол. Измученный и злой Никита начал писать как попало то, что приходило в голову:

«Вера, я знаю, что не имею никакого права тревожить вас. Во время нашей последней встречи вы ясно дали понять, что не желаете более меня видеть. Моя любовь не принесла вам ни капли счастья. Всё, что я делал, было бестолково и неправильно, и я до конца своих дней буду сожалеть об этом. Но сделанного не поправишь, и вернуть вашего расположения я, вероятно, не смогу никогда. Смею лишь надеяться, что когда-нибудь вы меня всё же простите. Оправданием мне может служить то, что я всегда любил вас. Вас одну, всегда, всю мою жизнь. Но любить, вероятно, тоже надобно уметь, а коль не умеешь – вовсе не братья. Мне этому научиться было негде, и чем всё закончилось – вы знаете сами. Но так уж вышло, что спросить совета мне более не у кого...»

После этих слов стало легче – и дальше Никита писал как по-катаному. Отрывистые строчки чередовались с кляксами: плохое перо брызгало чернилами.

«Вера, я до сих пор не знаю причины, побудившей вас выйти замуж за покойного князя Тоневицкого. И не смею вас спросить о ней. Но вы в двадцать три года стали матерью троих взрослых детей – и до сих пор, как мне известно, блистательно справляетесь с этой комиссией. Помогите мне, я в который раз чувствую себя полным дураком. Маняша – это всё, что у меня осталось. А я, как вы знаете, имею огромный талант собственными руками портить всё хорошее, что посылает мне судьба. Но я никогда не прощу себе, если испорчу жизнь своей дочери... Вера, поверьте, мне больше не у кого спросить совета. Собственный опыт тут, к несчастью, не подмога. Разумеется, воспитание детей – женское дело, но жениться ещё раз я не смогу никогда. Да и зачем? Лишь для того, чтобы возле Маняши оказалась чужая женщина, которая, скорее всего, никогда не полюбит её как родная мать? Видит Бог, я пошёл бы на это ради дочери. Но как можно знать наверное, что от этого не будет только хуже?.. Вера, я устал от глупостей и ошибок в моей жизни. Я готов платить за них сам: в конце концов, это справедливо и по заслугам... Но я смертельно боюсь изломать жизнь маленькому беспомощному созданию, у которого, кроме бестолкового папаши, в жизни больше нет никого. Вера, прошу вас, простите меня и помогите мне...»

Он закончил письмо на рассвете, когда блёклый зимний луч нехотя пробился под занавеску. Слово только этого и дожидаясь, мигнул и погас оплывший свечной огарок. Закатов отбросил перо, откинулся на спинку стула, крепко зажмурился – и страшно удивился, почувствовав, что глаза у него горячие и мокрые.

«Сентиментальным стал, брат...» – смущённо усмехнулся он, вытирая лицо рукавом. – «К старости, видать...» Посмотрел на плод своих ночных мучений, – семь исписанных листов, в беспорядке разбросанных по столу. Покачал головой. Потянулся было перечитать – и не решился, чувствуя, что после редакции письмо наверняка отправится в печь.

«Тебе нечего терять, болван.» – напомнил он сам себе. – «И мосты сожжены давным-давно. В крайнем случае – она тебе не ответит.»

Верин ответ пришёл в апреле. Закатов к тому времени уже приучил себя не вздрагивать от вопля Кузьмы: «Пошта, барин, прибыла!» – но сердце всё равно всякий раз подскакивало к горлу, когда вернувшийся из уезда кучер вываливал ему на стол редкие письма и заказанные книжки журналов. И сейчас, увидев

узкий голубой конверт с мучительно знакомым, косым, по-мужски твёрдым почерком, Никита почувствовал, как холодеет спина.

– Спасибо, старина. Ступай. – приказал он. И с нарочитой неспешностью вскрыл конверт.

Верно письмо было длинным, полным внимательной нежности, сочувствия и тепла. Так могла бы писать горячо любящая сестра или кузина – если бы у Никиты они были. Весь вечер он провёл с этим письмом, читая и перечитывая милые строки, ища в них скрытый смысл – и не находя... Вера, как все Иверзневые, не умела обманывать и всё, что хотела сказать, говорила без обиняков.

«Никита, вы напрасно упрекаете себя за вашу женитьбу. Одиночество – страшная тяжесть. Возможно, одна из самых тяжких на земле. Мне не дано было его испытать, и я не могу и не хочу судить вас. Судить можно лишь за намеренный обман – а вы, насколько мне известно, не лгали никогда. Ложь совершенно чужда вашей натуре. Я знаю вас много лет и, наверное, уже имею право так говорить. Я уверена, что и вашей покойной супруге вы не лгали тоже. А значит – всё было правильно. Неисповедимы пути Господни, и вы никак не можете винить себя в своём же несчастье.

Вы спрашиваете совета, как вам воспитывать дочь... Никита, право, вы преувеличиваете мой педагогический талант. Поверьте, уже семь лет я каждый день трясусь от страха – так же, как и вы. Так же боюсь наделать глупостей – роковых глупостей! – так же не знаю, чем закончится тот или иной мой поступок... И ошибок, поверьте, я сделала не меньше вашего, и ничего уже не поправить и не переделать... Чтобы вы знали наверняка, какова из меня воспитательница, я признаюсь вам, что одна из моих приёмных дочерей два года назад бежала из дому с первым встречным – и до сих пор мне ничего не известно об Александрин! Разве допустила бы это настоящая мать, разумная и мудрая наставница? Я приложила все усилия, чтобы узнать хоть что-то о девочке, – тщетно. Даже следов этого господина Казарина не удалось найти, – и остаётся только надеяться, что он всё же порядочный человек и Александрин счастлива с ним... Воспитание детей, Никита, – это нехоженое поле, и никогда не знаешь, на какой кочке споткнёшься и в какую яму упадёшь. Но твёрдо я знаю лишь одно: детей надо любить и видеть в них людей. Только это лишь и истинно. Вы любите вашу дочь, и все ошибки ваши будут ошибками любящего отца. Стало быть – поправимыми. Дети много лучше нас, Никита. Они обычно прощают своим

родителям всё, кроме прямого предательства и небрежения. А предательство не свойственно вашему сердцу, и с небрежением вы никогда не относились к людям. Не мучайтесь лишними сомнениями. Всё равно никто за нас не пройдёт наш путь и никто не снесёт нашего креста. Храни вас Господь. Остаюсь любящая вас Вера Иверзнева.»

«Любящая вас» – ошалело перечитал он. Закрыв глаза, перевёл дыхание. Снова недоверчиво взглянул на голубой, уже измятый им лист бумаги. «Любящая вас» – говорили ему чёткие чернильные строки. И – то ли машинально, то ли намеренно – Вера подписалась Иверзневой, а не княгиней Тоневицкой... Глядя на эти слова, которых ни одна женщина в мире не говорила ему за все его тридцать лет, Закатов чувствовал, что с минуты на минуту сорвётся с места, велит запрягать и – кинется в Москву. В знакомый дом в Столешниковом переулке, в гостиную с бархатными гардинами и запахом вербены, где он когда-то был счастлив. И упадёт, наконец, к ногам Веры, и увидит смуглое строгое лицо, волну смоляных, с синим отливом волос, мягкие чёрные глаза, родинку на щеке... И чем чёрт не шутит – может и на его улице будет... ну, пусть не праздник, куда уж теперь, – но хотя бы просто ясный солнечный день?.. Но, думая так, Закатов отчётливо понимал: никуда он не поедет и своей изрезанной рожой Веру не потревожит никогда. И так чудо, что она ему ответила. Верно, просто пожалела... Будет с него и этого.

День шёл за днём. Маняша росла, с каждым днём всё больше прибирая к рукам и отца, и дворню. Её лепет, смех и звонкий топоток ножек слышались по всему дому. Весной, летом и осенью она пропадала на улице, и няньки, которых Дунька давно уже подбирала по лёгкости на подъём и резвости ног, не знали продыху. Вечерами Закатов выслушивал неизменный доклад о том, что нынче изволила вытворять Марья Никитишна, – и не мог заставить себя даже нахмурить брови. Да и как прикажете это делать, когда на руках у тебя сидит и вертится смуглое глазастое существо с улыбкой до ушей, со смешными зубками, с коротенькими ручками, которые обнимают тебя за шею?.. И кудрявые волосики щекочут щёку, и тёплый носик тычется в плечо: «Тятя, тятя, тятя...» Обмирало сердце, и Закатов, чувствуя, как по лицу расплывается глупейшая улыбка, ничего не мог с собой поверить.

«Верёвки она из вас вьёт, Никита Владимыч!» – со вздохом подводила итог Дунька. – «Что ж дальше-то будет?»

«Понятия не имею.» – честно отвечал Закатов. – «Дунька, мы с Машей поедem покатаемcя?»»

«Да что ж это!.. Ведь давеча говорила уж! Сроните вы младенца с лошади, кто виноват будет?! И так уже цыганка как есть готовая!» – всплёмкивала руками Дунька. Но Закатов с дочерью на руках уже выходил из комнаты, и нянька лишь выпаливала вслед, – «Не велите, ради бога, Гермеса вашего бешеного седлать! Возьмите Бурку, она смирная! Ох, помните моё слово, доскачетесь вы!..»»

Но ни барин, ни «готовая цыганка» и ухом не вели. И у Закатова не было более счастливых минут, чем те, когда он, крепко держа в седле перед собой Маняшу, летел верхом по розовому, залитому вечерним светом лугу. В лицо било садящееся за лес солнце, облаком поднималась над травой золотистая пыльца, а в ушах бился стук копыт Гермеса и счастливый писк дочки. Только ради этих минут и стоило жить. Только они и остались у Никиты.

После он ещё несколько раз писал Вере. Писал о своих делах, о свалившейся на него должности мирового посредника, о всех неудобствах этой должности, о том, что перессорился со всем уездом, о том, что Маняша более всего любит «Руслана и Людмилу» и лошадей – совсем как он сам, – о том, что, если бы не дочь, то собрался бы зимой и покатил к Мишке под Иркутск – перевидаться... Вера отвечала ему ласково и просто, как брату, – и от этой дружеской ласки, сквозящей в косых строчках её писем, у Закатова остро сжималось сердце. Теперь уже всё между ними было ясно, просто – и безнадежно. И вернуть ничего было нельзя. Да и незачем.

* * *

– И я по-прежнему требую, чтобы вы тоже уехали! Слышите, маменька, – я настаиваю! – князь Сергей Тоневицкий стукнул кулаком по крышке рояля, и тот обиженно загудел. Княгиня Вера спокойно подняла на пасынка глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Мантоньерки – ленты, придерживающие шляпу или капор.

Купить: https://tellnovel.com/ru/tumanova_anastasiya/otvorite-mne-temnicu

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)